

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

...ПОКА КАПКАН СУДЬБЫ НЕ ЩЁЛКНЕТ

Слово про Луговского

Советские мушкетёры

В конце ноября 1935 года четыре советских поэта были командированы за границу.

Как выбирали?

Думается, по нескольким признакам. Поэты, представляющие Советскую Россию, должны быть очень талантливыми и не слишком в годах – иначе какие они “советские”. С безупречной биографией, с правильным происхождением, яркие. Хорошо воспитанные, политически подкованные, умеющие выступать, остроумно парировать, владеть аудиторией.

Выбор оказался не столь сложен.

Пастернак недавно был за границей на Антифашистском конгрессе и не самым лучшим образом себя показал, когда его вызвали на сцену – он едва смог за четыре минуты произнести несколько фраз. Небожитель, что возьмёшь.

Каменский, Асеев – слишком взрослые, начали до революции, их, в сущности, за кордоном уже знали – те, кто хоть что-то знал; а нужно было удивить, ошарашить.

Твардовский, Исаковский – слишком молодые.

Корнилов, Смеляков, Павел Васильев – славились своими выходками, зачастую нетрезвыми, последний был к тому же явно неблагонадёжным. Прокофьев – слишком специфичен, со своей непере译имой просторечной поэтической лексикой. Михаил Голодный пережил литературный кризис, а Василий Казин, едва обретя, сразу потерял форму (которую так и не вернёт никогда).

Поэтому – естественно, Луговской: безусловно советский, образованный, знающий языки, со своим великолепным голосом, с опытом оглушительно успешных выступлений по всей стране и, собственно, с прекрасными стихами: “Песня о ветре”, прочие “Большевики пустыни и весны” – лучше не придумать. А биография? Из семьи учителя, служил в Красной Армии, охотился за басмачами: красота.

Следующий козырь – Сельвинский: мастер, причём мастер, старательно перестраивающийся, если его просят перестраиваться; когда умер Маяковский – безапелляционно заявил, что претендует на его место и наследство, за что порядком был раскритикован – и тем не менее: ставил себя высоко и ставки имел высокие. К тому же – тот ещё полемист, с задатками литературного вождя – а то, что переболел конструктивизмом и прочим формализмом –

Окончание. Начало в №10 за 2015 год.

так на Западе это даже пригодится. Жизненный путь: в 19 лет прочитал “Капитал” Маркса и стал именовать себя Илья-Карл. При “прежнем режиме” сидел в тюрьме, как политический. Участвовал в Гражданской войне, был ранен. Работал матросом, рабочим, артистом в цирке, едва не стал профессиональным боксёром — поэзия отвлекла. Биография!

Третьим, а, верней, первым мог бы поехать Николай Тихонов — но по каким-то причинам не поехал.

Было кем заменить: Семён Кирсанов. Благонадёжный, владеющий стихотворной формой, в известной мере отвечающий за советский авангард, именовал себя “циркач стиха”, много выступал с Маяковским, и такое соседство на сцене выдерживал. Из семьи портного, безоговорочно советский.

Тем не менее, все они числились как попутчики, за ними нужен был пригляд, поэтому трёх мастеров дополнили Александром Безыменским — поэтом весьма сомнительных качеств, зато проверенным партийцем и бойцом (и в переносном, и в прямом смысле — Безыменский участвовал в октябрьской революции 17-го). А то, что самое знаменитое своё стихотворение он посвятил Троцкому, а Троцкий в ответ написал ему предисловие к книжке, и предложил рождённому революцией поэту Безыменскому заменить отчество — на Октябрьевич, — так с кем не бывает. Никто не мог предположить на заре Советской власти, что Льва Давидовича в 29-м году выдворят из страны.

Кроме того, Безыменский и Луговской с одной стороны, а с другой Сельвинский и Кирсанов создавали правильный национальный баланс, который мог учитываться — он был бы неровен, если б вместо Луговского поехал, например, Михаил Светлов.

Советским мушкетёрам — Владимиру, Илье-Карлу (ещё его в дружеском кругу зовут Сильвой), Семёну и Александру Октябрьевичу (см. выше) предстояло посетить Варшаву, Прагу, Вену, Париж и Лондон.

Безыменский отправлял подробные отчёты о поездке в Москву: в Агитпроп ЦК и в Союз писателей. Там их получали очень важные люди: например, А. С. Щербаков, который вскоре станет секретарём ЦК.

“Дорогие мои! — набивал себе цену Безыменский уже в первом донесении от 1 декабря. — Если вы справедливо считаете нашу поездку сочетанием учёбы с удовольствием, то для меня лично и то и другое переплетается с утомительным и трудным делом психологического руководства тройки весьма трудных человеческих экземпляров”.

Поездка началось сложно: вечер в Варшаве даже не стали проводить: “Пилсудчики, — сообщает Безыменский, — сделали бы всё возможное (а это в их возможности), чтобы на вечер явилось ничтожное количество людей”.

Встречались в гостинице с польскими поэтами Тувимом и Броневским. Гости жаловались на отношение к поэзии в Польше: тиражи не больше тысячи экземпляров, прожить на книги невозможно, никаких выступлений, Тувим кормился за счёт того, что писал куплеты для кабаре.

“Публика стихов не читает, не любит их, слушать не хочет”, — пересказывал Безыменской слова Тувима.

То ли дело советские поэты — с их тиражами и допечатками (например, Луговской только что выпустил сразу две объёмные, подводящие промежуточные итоги, книги — “Избранное” и “Однотомник”, в том же 1935 году журнал “Знамя” публикует его новые стихи в... восьми номерах подряд!), с их непрестанными гастролями, отдыхом на курортах, с толпами поклонниц и с неплохо обеспеченной — исключительно поэтической работой — жизнью.

Естественно, читали друг другу стихи, Тувим называл эту четвёрку “богатырями”, пытаюсь вмести в это слово всё своё восхищение, заодно извиняясь за не самый благодарный приём в Польше.

“...Когда мы переехали чешскую границу, — рассказывает Безыменский, — сразу почувствовали все четверо всеобщее внимание, начиная с первых людей, встреченных в поезде”.

Встречали поэтов, естественно, на уровне посла СССР в Чехословакии; первое выступление прошло в посольстве — принимали хорошо; к тому же посол советовал спеть несколько песен — тут Луговской с его басом срывал банк.

На другой день ездили в Братиславу, смотрели постановку “Екатерины Измайловой” Шостаковича в местной опере.

В Праге на выступлении был полный зал — в основном местная молодёжь, и “левая”, и беспартийная. Безыменский констатирует: “Успех был оглуши-

тельным, прямо говорю. Можете судить по прессе. Даже самые правые газеты хвалили и признавали”.

Сельвинский напишет жене, что люди от восторга “орали, ревели, топали ногами”.

Безыменский выражает недовольство Кирсановым, зато о Луговском и Сельвинском пишет: “. . .ведут себя прекрасно. Кроме того, что они только и говорят о советской стране, её победах и переворотах, сравнивают людей Республики с теми ущербными и страдающими людьми, которых они встречают на каждом шагу, — эти поэты в условиях Запада необычайно искренне, от всего сердца чувствуют себя ЧАСТЬЮ поэтического отряда бойцов СССР. . . Когда их интервьюировали, они прежде всего говорили о ВСЕЙ советской поэзии, а потом уже о своём месте в ней”.

Что до Кирсанова, то вот что настукивает Безыменский: “Этот человек всюду суетится. Это его основное качество. Он всюду лезет вперёд, подчас не даёт никому говорить, желая показать именно себя “вождём” литературы и группы путешественников. Это он хочет разьяснять спорные пункты, это он хочет определять политику.

< . . . >

Мне и (с радостью скажу) Сильве и Володе удалось исправить вред, причиняемый Сёмой. Сёмочка после наших поправок брал в разговорах слова обратно, вспомнил и о классовой борьбе, упоминал о других поэтах. Однако тенденции сего поэта нам видны. Иногда Сильва прямо говорит: — Сёма, помолчите хоть минутку — и хорошо, что именно он это говорит. На собрании четырёх был разговор, прямой и принципиальный, Сёма притих. . .”

Луговской собирает, а то и ворует всё подряд, что сгодится “на память”: открытки, салфетки, журналы, билеты, и попутно шлёт в своей традиционно возвышенно-патетической манере отчёты о путешествии своей жене — Сузи: “Переехали границу Швейцарии. перевал Армберга в Тироли совершенно потрясает. Всё в снегу, глубоком и пухлом. Стоят миллионы сонных и белых елей и сосен. Долины то лиловые, то зелёные, то синие. . .”

По пути в Париж Луговской, единственный знавший французский в их компании, открывает свежую газету и удивляется: ба, да тут про нас, товарищи!

Газета “Эко де Пари” устами журналиста Анри де Кериллиса выражала негодование по поводу того, что их страна принимает четырёх большевистских поэтов. Статья называлась коротко и ёмко: “Вон из Франции!”

Ещё не приехали, а уже — вон. Поэты хохочут: они, конечно, таким приёмом ещё больше раззадорены.

В страну их впустили. Первые дни отдыхали, встречались с Луи Арагоном, с Андре Жидом, с Андре Мальро, ходили по кабакам, в чём даже Безыменский признаётся, хотя считает нужным добавить, что зланные заведения посещали “с приличными людьми”. Луговской, изучив меню, первым делом заказывает бычьи яйца. Остальные довольствуются более понятными блюдами.

На второй неделе пребывания, 10-го числа, Луговской катался на авто по городу в компании парижского приятеля Ильи Эренбурга — Бориса Яффе, корреспондента “Комсомольской правды” Савича и французского журналиста Путермана. Неизвестно как влетели под автобус (очередная авария Луговского) — все целы, травмы у него одного. Поначалу думал: сломал ребро, но Безыменский отчитывается в Москву, что — трещина.

Сузи Луговской напишет, что у него “3 ребра сломаны пополам”. Правда, судя по всему, была где-то посередине: травма оказалась серьёзной, чем трещина, но точно не три ребра пополам.

Луговской уверял, что компания была совершенно трезва, но Безыменский ему не очень поверил.

Все были на нервах.

Сначала Луговского поместили в совершенно кошмарную лечебницу на Монпарнасе — десятиместная палата, полная разномастной публики, но оттуда вскоре перевели в лучшую клинику.

Спустя то ли четыре дня, то ли, по другим данным, две недели, Луговской всё-таки выходит — с тростью — из больницы.

В конце декабря четыре поэта читают стихи для французского радио. . . с Эйфелевой башни. Переводит их Арагон.

4 января проходит поэтический русско-французский фестиваль в “Национальной консерватории”. Билеты раскупили за полтора дня. В зале – парижская интеллигенция и российские эмигранты, держащиеся особняком. Люди сидят на приставных стульях, на полу, между рядов.

Председательствовал Илья Эренбург, живший тогда в Париже.

Участвовали, помимо Арагона: Шарль Вильдрак, Жан-Ришар Блок, Люк Дюртен, Тристан Тцара, Леон Муссиак – всего 16 французских поэтов и четыре советских мушкетёра. Читали по очереди. Поэт Робер Деснос обнародовал свой перевод стихотворения Луговского “Молодёжь”, а потом Луговской прочитал то же стихотворение по-русски.

Безыменский хвастался, что после маломощных французов Луговской “так грохнул начальные строки своего стихотворения – аж люстры задрожали”.

Вообще все четверо держались браво, сам Безыменский отлично спел три песни, входящие в его сочинение “Бахают бомбы у бухты”, Кирсанов исполнил фокстрот, вплетая его в чтение “Поэмы о Роботе”, а Сельвинский пропел по-итальянски песню “Марекьяре” из его “Охоты на нерпу”.

Всё это действовало совершенно обескураживающим образом: из зала могло показаться, что к ним приехали очень свободные, раскованные и уверенные в себе люди. Или так оно и было? Они же чувствовали себя послами удивительной и небывалой страны – это придавало сил.

О французах Безыменский отзывается иронически: “Их пребывание на сцене являло собой, честью заявляю, очень унылое зрелище. Они робели, как малыши, читали стихи по бумажке, дрожавшей в их руках...”

Тем не менее, во французских газетах не написали ни слова о том, что именно читали русские и французские поэты. Зато подробно описывали прическу и фигуру Луговского, самого видного представителя советской делегации.

Эта элегантная черта зарубежной прессы – описывать чёт знает что, кроме самого главного, была замечена ещё во время вояжей Есенина и Маяковского. “Приехал большевик с громовым голосом и отличной фигурой, он мог бы стать атлетом, а стал поэтом, багаж его составлял сорок чемоданов” – так выглядела среднестатистическая газетная колонка, сопровождаемая огромной фотографией того или другого стихотворца. Ну, вот им ещё одного красавца в компанию предоставили. “Эти советские поэты – такие милые!”.

По итогам всех встреч Арагон пишет возмущённое письмо в Москву о том, что Безыменский надоед своей безапелляционностью – в том числе по отношению к Кирсанову, зато: “Здесь мы очень довольны Кирсановым, Сельвинским и Луговским. Я говорю вам это не только с литературной точки зрения, но и с точки зрения партийной работы. Мы просим вас и впредь посылать нам таких же хороших товарищей, которые производили бы впечатление, являющееся лучшей пропагандой для Советского Союза, одновременно на людей, таких как Жид и Пикассо, и на рабочих с рынка”.

Москва в этом эпистолярном поединке приняла сторону Безыменского, а не Арагона – и в Лондон поэты отправятся уже втроём. Без Кирсанова.

6 января Луговской отчитывался Сузи: “Кирсанов, купив три чемодана мур... каких-то зелёных галстуков, рубашек, десу и кофточек, уезжает сегодня. У него уже нет ни копейки. В музеях он не бывал, ничем не интересовался, кроме своей популярности и кофточек. Я же хожу по музеям по 10–12 часов. Нужно навёрстывать. В Лувре был 5 раз, изучаю отдел за отделом...”

О себе Луговской, в очередной раз, пишет не всё.

Например, он знакомится с Хемингуэем, общается с ним – хотя значения этому не придаёт – ну, ещё один сочинитель, безбородый, в широких брюках, да, здоровый, как и Луговской, но тут имеются и посерьёзнее величины.

Скажем, 5 февраля Луговской будет участвовать в чествовании Ромена Роллана – в компании Андре Жида, Жан-Ришара Блока, Андре Мальро, нового знакомого Ильи Эренбурга (впрочем, учившегося до революции в отцовской гимназии), старого знакомого Леонида Леонова, приехавшего из Союза... Мировой литературный истеблишмент!

А главное: у Луговского начинается роман с прекрасной переводчицей, сопровождавшей их группу, – студенткой Сорбонны, большеротой, белозубой красавицей Этьеннеттой, жившей на Монмартре.

Он успевают слетать в Савойю, в курортный городок Белькомб на реке Арно, пробыть там десять дней. Безыменскому наврал что-то несусветное про осложнение после травмы и необходимость подлечиться.

Этьенетта называет его “Волк”. После их прекрасного путешествия она успеет написать ему одно письмо, где так и будет к нему обращаться. О, этот русский волк, волчище – схватил в зубы, унёс. Щекотал бровями, рычал. Пел волчьи песни. Она трогала его рёбра, недавно переломанные: тут болит? А тут? Давай делать так, чтоб тебе не было больно. Я тебе покажу, не шевелись только.

“И жили мы в дешёвеньком отеле / С огромным телефонным аппаратом... / Там церковка была, и ресторанчик, / И лавочки, где продавали вяло / Парижские открытки и бювары, / А наверху, как слон, стоял Монблан”, – это поэма “Белькомб”, Луговской опишет всё это спустя восемь лет.

Они там едва не погибли – мимо них, совсем рядом, прошла лавина, в таких случаях говорят: успели попрощаться с жизнью.

“Спасённые от ярости стихий, / Мы, обнявшись с тобой, стояли молча. / Дорога срезана была как бритвой, / За два шага от нас чернел провал. / Случайность пожалела нас с тобою”.

В Париже Этьенетта будет провожать его в ночь с вокзала “Gare du Nord”. Подарит платок русскому поэту на память. Мы ещё вспомним об этом платке.

Луговской рассказывает своей Сузи в следующем письме: “Пишу в настроении очень плохом, каком-то светло-сером, как парижский дождь. В это настроение вкраплены и огоньки, и фальшивый свет реклам, но на душе усталость, в голове обрывки мыслей, в крови – одиночество”.

Если коротко: пожалей меня, Сузи.

Далее самое главное: “Будь я проклят, но когда, в какой день моей жизни стал я серым, зимним волком – не знаю”.

Жизнь – она вся такая мелодрама, туши свет, там такие банальные рифмы.

Луговской ведь ещё и в расстроенных (или в раздвоенных?) чувствах тогда же напишет Сузи стихи – удивительные и красивые: “О, только бы слышать твой голос! / В ночном телефоне – Москва, / Метель, новогодняя встреча, / пушинка весёлого снега... / В гудящей мембране / едва различимы слова, / Они задохнулись / от тысячемильного бега...”

... В январе 1936 года три советских поэта будут выступать в Лондоне, всё так же успешно, разве что со скидкой на то, что английская публика традиционно более сдержанна, чем французская.

Среди других Луговской стоит в толпе, собравшейся под окнами дома, в котором умирал великий британский писатель Редьярд Киплинг, один из кумиров его так и не завершившегося детства.

“Советский Киплинг” станут называть самого Луговского в оставшиеся до войны годы.

Потом уже нет.

После войны так будут называть Константина Симонова, и Луговской отдаст своему ученику титул без боя.

Этьенетту он больше не увидит. Её расстреляют немцы спустя восемь лет – как большевичку и партизанку.

Всё это – готовое, сначала удивительно весёлое, потом ужасно грустное кино: четыре молодых поэта и Волк среди них, оvationи, фотовспышки, первые страницы газет, весёлое пьянство, бычьи яйца, авария, французский госпиталь с клошарами, молодой Хэм в парижском кафе, прекрасная и ласковая переводчица, дома жена-пианистка, “о, только б услышать твой голос”, снежная лавина, умирающий Киплинг, сколько всего, Боже мой.

Дядя Володя

Внешне со временем он стал похож на деда по материнской линии. Представишь Луговского с бородой – сразу видится красивый, с ласковыми глазами батюшка.

Если проводить конкурс красоты среди поэтов того века, то Луговской – наряду с Блоком, Есениным, Маяковским и Павлом Васильевым – в числе самых ярких, в первой “пятёрке”. Никто не знает, в скольких девичьих комнатах висел его портрет в 30-е годы – во многих.

Он непрестанно и спокойно пользовался своей статьёй.

Тихонов вспоминал: в Таджикистане было дело, у Луговского ещё первый брак, город Чарджоу, они идут по улице, вдруг слышат звуки музыки. Тихонов: что это?

Луговской сразу узнаёт: Шуман, “На чужбине”.

Следом другая мелодия. А это? Луговской: “Шуберт. Знаешь, Коля, пойду. Уверен, это играет молодая прекрасная девушка!”

Так оно и оказалось. Домой Луговской вернулся очень поздно, весёлый.

На другой день познакомил Тихонова с действительно очаровательной подругой: “Инесса де Кастро!” – представил её, а товарища: “Жюльверн-старший, он же поэт Тихонов”.

Инессу на самом деле звали Аграфена Грушко (или как-то наподобие). Она была циркачкой, и в тот же день жюльверны оказались на её выступлении в шапиту.

Дочка Луговского – Мила Голубкина вспоминает другую историю. Однажды отец подарил ей игрушечного медведя, сопроводив подарок чтением стихотворения. Она долго думала, что стихи посвящены именно ей. Потом узнала, что такого же медведя Луговской подарил Мухе, первой дочери. Муха, естественно, думала, что и стихи про медведя для неё. Много позже выяснилось, что сначала у папы был роман с замужней женщиной в Ялте – и самый первый медведь был подарен именно её дочери. Вместе со стихами. “Это так похоже на папу”, – сокрушённо, но уже без обиды скажет дочь годы и годы спустя.

Поэт Сергей Наровчатов писал о Луговском так: “Гвардейский рост, в строю всегда стоял правофланговым. Грудь – крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль как на древнеримской медали – эдакий Траян или Тит. Взгляд как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови... Всем бровям брови. Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу. Женщины всех рас, наций и племён, всех возрастов и характеров возносили добротные жертвы на алтарь этого ходячего божества. Молодые разбойники, мы иногда натывались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах. “И ты тоже...” – “Что ты, что ты, он относился ко мне совсем по-отечески...”

Ну да, ну да, читал стихи, мороженым кормил, рассказывал ошеломительные истории, смешил, пел песни. Немного рычал. Потом ещё пел.

Про Луговского одна из современниц совершенно спокойно и взвешенно говорила: “Он был бы великим певцом, если б не стал поэтом”.

О том же Константин Симонов: “Он с какой-то особой мягкостью округлял свой бас, словно придерживал его на поворотах. И за этим чувствовалась мягкая, пружинистая сила”.

Симонов вспоминал, как Луговской пел то на испанском, то на французском, то на английском – например, американскую песню о Джоне Брауне, который поднял восстание за свободу негров. “Мне и до сих пор (1961 год на дворе) кажется, – запишет Симонов, – что Луговской пел её невыразимо прекрасно”.

Дело, конечно, не только в красоте, базе, славе и блистательной биографии.

Луговской был отлично образован и даже, в его духе, несколько бравировал своей образованностью. География, астрономия, история, архитектура, музыка – всё укладывалось в число его разносторонних интересов.

Читал по памяти Уитмена по-английски, следом – “Легенду об Уленшпигеле”, следом – Горация на латыни, и тут же “Слово о полку Игореве” – вдохновенно, целыми страницами.

Один день, рассказывают очевидцы, Луговской “с жаром, во всех деталях описывал военную форму, которую носили в русской армии в разные времена разные полки. А на другой день вспоминал могилы чуть ли не всех знаменитых людей” – снова, естественно, по памяти, ну то есть по книжкам – воссоздавал места захоронения и особые их приметы так, словно видел их сам.

Любил художника Валлотона, композитора Грига. Обожал прозу Лескова.

Из него мог бы получиться отличный эссеист, автор беллетристических миниатюр в духе южнорусской школы, например, Олеси, или Катаева, или Шкловского.

Оцените, к примеру, такие его пассажи из писем к первой жене:

“... будем говорить о подлинной красоте. Красота завязла у меня в зубах. В живописи я ничего не понимаю. В кино нравятся приключенческие фильмы. Зачем нужно писать стихи, я не понимаю, но делаю исключение для своих.

Театр раздирает мне душу невероятной аффектацией. В нём всё так похоже на действительность, что хочется застрелиться. Музыка намекает на такие возвышенные возможности, что стыдно говорить, потому что их нет. Проза меня невероятно возбуждает, и это плохо — красота не должна возбуждать. Остается элементарное: ветер, быстрота, смена, витрины в четыре часа утра. Они освещены, хотя в этот час не нужны никому. Хорошие джемпера вызывают лёгкое головокружение, а в соединении с галстуками и рубашками делают витрины входом в мир точного жеста и внутренней вымытости. Остаётся ещё состояние сна (не сон), которое бывает, когда лежишь на пляже или ещё на чём-нибудь, глядя прямо в небо, или когда рядом с тобой или просто с тобой происходит что-нибудь особое и трагическое, о чём ты раньше только читал. Тогда начинает работать твоя собственная машина красоты, в страшно медленном ритме отстукивая секунды”.

Видно, что человека несёт, что, с одной стороны, он принимает позу, “выглядит” — а с другой, он действительно так выглядит, это он.

Ещё цитата:

“Михаил Юрьевич, — учитель русского, калужского демонизма и писательской неврастении — скажите, что это такое? Или, быть может, нужно рисовать карикатуры на Мартыновых и, не проплевав вишни, получить пулю в лоб? Нет, милый, мне далеко до Вас, и минеральные барышни на мою психологическую могилу не придут с делопроизводителями.

Я не знаю, что страшнее — папиросы или Ротенбург.

Я не знаю, какими путями идет городская ночь.

Я не знаю, почему ищущий уходит дальше всего от цели поисков.

Я не знаю, отчего так завораживает простая человеческая мысль.

Из разлада поднимается творческая работа. Так оно и идёт”.

Впрочем, на фоне вымученной, лишённой воздуха, эссеистики Луговского — письма его кажутся написанными другим человеком.

Быть может, беда его была в том, что он очень хотел нравиться — и не только женщинам, а также их дочерям, это ещё полбеда, — а сразу всем: массовому читателю, тонким ценителям, советским критикам, государству, наконец.

До какого-то времени почти всё удавалось. Даже без “почти”. Его разлада никто не видел — только либо отличные, либо достойные результаты творческой работы.

У него появилась целая плеяда замечательных учеников: он вёл чуть ли не самый успешный довоенный поэтический семинар в Литературном институте. (Где, к слову, открывал все вступительные и заключительные вечера — первый вальс был его — в паре с женой друга Тарасенкова — Марией. Он ещё и танцевал.)

На семинаре Луговского учились Константин Симонов, Евгений Долматовский: “Любимый город может спать спокойно...” — это его, Михаил Матусовский, а его — “Подмосковные вечера” и “Старый клён”, хотя в обоих случаях далеко не только это, Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Маргарита Алигер, первая жена Симонова — Евгения Ласкина...

Характерно, что на институт его любовные похождения не распространялись: там эта тема была табуирована — учитель значит учитель.

Вёл занятия свободно, раскованно, доброжелательно, бесконечно терпеливо занимался даже самыми слабыми стихами, много рассказывал о загранице, про Таджикистан и Туркменистан, про басмачей, про музеи и вулканы — потом снова возвращался к поэзии...

Все ученики были вхожи в его дом, всех привечал.

Приветствовал: “Входите, деточки, входите!”

Ученики называли его “Дядя Володя”, хотя, в сущности, они даже в сыновья ему не годились.

Симонов: “Мы любили его, потому что он любил нас”.

Луконин, выбиравший между футболом и поэзией, выбрал поэзию, прибыл из Сталинграда — а ночевать негде. Дядя Володя сводил его в Третьяковку, накормил, повёл ночевать к себе.

Там Луконин был порядком и не раз удивлён: для начала квартира — на стене портрет Маяковского — “...работы Пикассо” — небрежно бросает хозяин, огромный радиоприёмник с рубчатými эбонитовыми ручками — таким даже сигналы с Марса можно уловить; висят боксёрские перчатки, на столе

буддообразные фигурки толпой и отточенные, как стрелы, карандаши, на стенах – оружие, всё в шпагах, саблях и винтовках, мало того, в комнате поэта – настоящий пулемёт “максим”: если б Луговского решили взять боем, он мог бы держать оборону несколько дней. . . Сам – огромен, источает мощь и самоуверенность, и тут вдруг голос появившейся в дверях старенькой мамы:

– Миша, вы следите за Володенькой, он такой беспомощный!

Мамы, такие мамы.

У поэта Владимира Журавлёва была другая проблема: он влюбился, а родители невесты твёрдо ответили: “Нет! Сочинитель стихов нам в качестве мужа не требуется!”

Журавлёв пришёл на семинар в небывалой тоске, дядя Володя вывел его в коридор: в чём дело, деточка?

Так вот и так, дядя Володь.

Луговской говорит: пойдём. Надевает свой лучший пиджак, лучшие ботинки, причёсывается, одёколон в ладонь, два удара по щекам – вперёд!

Вот они у родителей любимой девушки, и Луговской запирается с ними на полчаса.

Через полчаса выходит – поздравляю, вы жених и невеста, можешь отныне называть её родителей – “мамой” и “папой”.

(Журавлёв действительно женился и прожил всю жизнь с этой женой.)

Вот это учитель! Деточки звонили ему в любое время дня и, главное, ночи – он всегда брал трубку, он всегда был на связи.

Ученики готовы были идти за ним, куда позовёт, он и готовил их, как своих питомцев.

“На стене горят / клинки и ружья. Я проснулся, / подниматься стал. / Что не спишь ты, / славное оружие? / Что звенишь, / изогнутая сталь?” – вопрошал Луговской в стихах тех лет.

Сталь звенит к войне. Стихотворение заканчивалось так:

“А для тех, / кто победит в последних / Битвах / приближающихся лет, Мужественно встанет / мой наследник, / Настоящий воин / и поэт”.

Когда начались самые страшные времена – они смотрели на него и верили ему, как отцу. А иные – больше, чем отцу: наставнику, воину и поэту.

Свирепое имя Родины

В 1936-м от Луговского пытается уйти Сусанна Чернова – их отношения будет лихорадить весь год. Сыпятся обвинения в изменах – Луговской отчаянно врёт.

В отношении Черновой к мужу чувствуется усталость и разочарованность.

Луговской, как и в случае с первой женой, Тамарой, умоляет Сузи остаться: “У каждого, даже самого дурного человека есть своё святая святых, то, что и словом не передашь. Этим – за все пять лет – была та сердцевина моей любви к тебе, которая горела, горит и будет гореть во мне, несмотря на всё горе, которое ты мне причиняла”.

(Он потом напишет на ту же мелодию, что и это письмо, одно из лучших своих стихотворений со строчками: “Много ты сделала / мне / зла. / Много сделала зла”).

Луговской попадает ещё в одну автокатастрофу – на этот раз проломит череп.

Он не теряет поэтическую силу – в 36-м году им написано несколько лирических шедевров, – но идеологические стихи его становятся всё более пустыми и дребезжат на каждом повороте.

Причины тому есть: понимать действительность становится всё сложнее. 28 января 1936 года в газете “Правда” опера Шостаковича, показ которой посетил Сталин, названа “левацким сумбуром”, – а Луговской ведь любил и понимал Шостаковича, и сам был “левацким” поэтом, – а каким же?

Требования к искусству неожиданно становятся всё более традиционными и консервативными: после многолетней яростно “левой” РАППовской муштры это кажется удивительным и невозможным.

Страна всё суровей принуждает верить в себя и себя восхвалять. Одновременно с этим запускаются серьёзные и жестокие процессы, словно в ту домну, которой так восхищался Луговской несколько лет назад, собираются бросать уже не только уголь. . .

С 19 по 24 августа пройдёт процесс по делу “Троцкистско-зиновьевского объединённого центра”. 16 обвиняемых, в том числе виднейшие, всей стране известные большевики. Цель блока определяется как “одновременное убийство ряда руководителей партии” с целью вызвать “панику в стране” и “прорваться к власти”.

К предавшим дело коммунизма партиям начинают подгрести и литераторов. “Оруженосцами троцкизма” называют Галину Серебрякову, Тарасова-Родионова. Ивана Катаева исключают из партии. Луговской их всех знал.

Но раз сказал: “Коммунизм – это всё”, – значит, стоит отвечать за сказанное.

К тому же, если задаться вопросом: “А сомневался ли Луговской хоть в чём-то, в том, 36-м году?” – то придётся признать: нет. Свидетельств тому не сохранилось, а сделать себя постфактум прозорливей и догадливей, он, в отличие от многих современников, не пожелал.

Зато сохранились свидетельства обратного.

25 августа того же года президиум Союза писателей обсуждал сложившуюся в литературных рядах обстановку. Были: Афиногенов, Леонид Леонов, Олеша, Киришон, Вера Инбер, Луговской, Бруно Ясенский (37-й он не переживёт). Из начальства – видный функционер Владимир Ставский. Всячески одобряли изгнание из Союза писателей-троцкистов, досталось ещё не изгнанным: например, бывшему конструктивисту Агапову, который имел наглость хвастаться, что он стоит “три тысячи рублей в месяц!” Это что ещё за буржуазная меркантильность?

Луговской осуждал свойственный, по его мнению, советским литераторам “гнилой либерализм” – жёстче надо, жёстче! – хотя конкретных людей не называл. “Слишком долго мы миндальничали с Тарасовым-Родионовым и Селивановским...” – поддержали Луговского другие выступающие. Селивановский был успешным литературоведом, писал в числе прочих как раз о Луговском и Леонове. Теперь они сидели с насупленными лицами на проработке и делали вид, что ничего такого не помнят.

В конце года Луговской в небольшой компании писателей (знакомые все лица: Безыменский, Алексей Сурков, Сергей Третьяков и прочие) посещает строительство канала Москва–Волга.

Патриотические и прочие чувства настолько переполняют литераторов, что они пишут благодарственное письмо наркому внутренних дел Генриху Ягоде: “Перед нашими глазами стройка проходила, как эпическая повесть, вписанная в холмистые низины, березняки и торфяники районов векового затишья почерком каменных дорог, прекрасных мостов, новорождённых озёр”.

Видно, что поэты письмо сочиняют и с трудом удерживаются от рифмы.

“Но рядом с чудесами стальными, бетонными, земляными мы видели, быть может, самое великое чудо, немыслимое ни в какой другой стране, ни в какую другую эпоху, кроме нашей советской, – чудо перестройки людей наново, искупление преступления трудом...”

Год 37-й Луговскому расслабиться не позволил.

В первой половине января, с 12-е по 16-е, он проехал по Украине с гастролем – собирал залы, отвечал на записки, срывал овалы, так было хорошо на душе.

Сразу по возвращении литературное начальство находит Луговского: начинается новый виток борьбы с врагами народа, Володя, подключайся, нужен.

С 24 января 1937 года “Правда” публикует очередные протоколы допросов “троцкистской сволочи”, и советские писатели сопровождают это своими гневными речами.

Письмо с требованием “беспощадного наказания для торгующих Родиной изменников” подписывают Павленко, Алексей Толстой, Бруно Ясенский, Лев Никулин и брат сердечный – Фадеев.

Рядом с этим письмом – стихи другого дружка закадычного – Михаила Голодного: “Как буря будет голос мой: / – К стене, к стене иезуитов!”

В следующем, от 25 января, номере “Правды” – статья “Отщепенцы” Фадеева, “Изменники” Безыменского и расстрельные стихи самого Луговского, которые он потом, естественно, никогда не публиковал: “Душно стало? Дрогнули коленки? / Ничего не видно впереди? / К стенке подлецов, к последней стенке! / Пусть слова замрут у них в груди!...”

“Что бы после ни писал Луговской, ничего не смоеет подлости этого стихотворения, невиданного в традициях русской поэзии”, – напишет писатель Фёдор Гладков в дневнике.

К слову, в позднем восприятии всех этих чудовищных событий случится характерная аберрация: Фёдора Гладкова, автора романа “Цемент”, будут воспринимать как матёрого совписа, всю жизнь дудевшего с партией в одну дуду, в то время как он никаких писем не подписывал и, судя по опубликованным много позже его дневникам, отличался завидным здравомыслием. В то время как свои расстрельные статьи написали в те дни и Андрей Платонов, и Исаак Бабель, и Юрий Олеша, и Юрий Тынянов, которых, тем не менее, принято воспринимать ровно противоположным образом...

“Невиданную подлость” Луговского продолжит в следующие дни его брат по ремеслу – мужественный и непреклонный Николай Тихонов, а кроме него – Александр Жаров, Михаил Исаковский, Вера Инбер и Николай Заболоцкий тоже (“Мы пронесли великую науку... Уменьше заклеймить и уничтожить гада”), и даже Самуил Маршак, и ещё Агния Барто. Что нисколько не оправдывает Луговского, но кому тут нужны оправдания, кто вправе их принять?

К тому же, никакие подлости не давали в те дни никому индульгенций.

Проработки идут непрерывной чередой, поэты и писатели один за другим оказываются предателями, двурушниками и, Боже мой, даже террористами, ужасный сквозняк продувает со всех сторон, и это совсем не тот ветер, о котором писал Луговской десятилетие назад. Или тот же?

Обстановка нервная до такой степени, что доходит до анекдотов.

Страна масштабно отмечает столетие со дня смерти Пушкина. 25 февраля группа писателей сразу после Пушкинского пленума идёт в ЦДК – там банкет. Только что выступавшие Луговской и Тихонов тоже присутствуют. Грузинский поэт Паоло Яшвили произносит тост в честь товарища Сталина:

– Грузия гордится такими детьми!

Тут в президиуме вскакивает сочинитель Иван Кулик и, надрываясь, кричит:

– Мы! Вам! Не! Завидуем! – и немедленно падает в обморок.

Стоит уточнить, что Кулика только что прорабатывали как автора “вражеской писанины”.

Выход из положения находит драматург Всеволод Вишневский, который объявляет, что Кулику стало дурно, и он закончит за него речь. И заканчивает, говоря, что Сталин принадлежит Украине так же, как и Грузии, потому что Сталин – достояние всех народов СССР.

На встрече был один чрезвычайно ответственный товарищ с Украины, который по дороге с банкета поделился с Тихоновым и Луговским, что надо принять меры, доложить и разобраться в поведении Кулика: чего это он падает в обморок? Тихонов с Луговским озабоченность разделили, но докладывать отговорили.

24 апреля в “Правде” выходит сразу несколько статей по поводу треклятого РАППа, в который Луговского угораздило вступить вместе с Маяковским и Багрицким. Эти двое уже ушли в мир иной, а он-то здесь! Он здесь, и ему отвечать!

В материале П. Юдина “Почему РАПП надо было ликвидировать” в резких тонах рассказывается о троцкисте Авербахе (том самом, что просил Луговского читать стихи на приёме у Сталина!) и его “приспешниках”. В их числе, например, Бруно Ясенский, который только что сам вместе с Луговским призывал в “Правде” ставить предателей к стенке.

Вовсю бьют хорошего знакомого Луговского – драматурга Афиногенова, а поэта Бориса Корнилова, которого Бухарин наряду с Луговским называл в числе самых лучших, прямо именуют “контрреволюционером”.

25 апреля 1937 года президиум правления Союза писателей СССР принимает постановление следующего содержания: “Поэт Вл. Луговской допустил крупную ошибку, некритически подходя к изданию своих старых произведений. В результате в “однотомник” и в сборник “избранных стихов”, вышедших в 1935 году в Гослитиздате, оказались включёнными стихотворения политически вредные”.

26 апреля постановление выходит в “Литературной газете”. В тот же день “Известия” тоже говорят об ошибках Луговского.

Удары сильнейшие, ужас наводящие в тех условиях.

Ладно бы просто упоминания в газетах – нет, заслужил целого постановления президиума! Которое наверняка согласовывается где-то в ЦК!

Дело было вот в чём: ещё в 1935 году у Луговского вышли две книги избранных стихов. В числе иных там есть стихотворение “Дорога”, написанное в 1926 году, с отличным финалом: “Мне страшно назвать даже имя её / – Сви-репое имя Родины”.

В совсем раннем стихотворении “Повесть” присутствуют не менее кра-мольные строки: “И страшная русская злая земля / Отчаяньем сердце точит”.

Третье стихотворение, попавшее под раздачу, – “Жестокое пробуждение” 1929 года, – заканчивающееся так: “Будь проклят после, нынче и раньше, / дух страшного снега и страшной природы”!

Что во всей этой жутковатой истории интригует? Луговского фактически обвинили... в русофобии.

В новейшие времена по поводу Луговского часто писали, что ему при-шлось пережить “травлю”, но на этом месте, как правило, запинались и в суть травли не вникали, оттого что суть травли несколько противоречит новейшим вульгарным воззрениям на большевизм. Принято считать, что большевики все русское ненавидели и хотели уничтожить, а поэта Луговского наказывают за то, что он про русский снег и русскую землю обидное сказал. Незадача.

Бредовость ситуации как раз в том, что Луговской, как мало кто, любил русскую историю и русскую географию – в этом он дал бы фору и Багрицко-му, и Маяковскому! Последнему бы тоже, по совести говоря, должно было достаться за строчку “Я не твой, снеговая уродина!”

Поэтические противники Луговского просто вовремя извлекли его старые стихи. Недоброжелателей у него, учитывая всероссийскую славу Луговского, было пруд пруди. В данном случае ими оказались два ретивых комсомольских поэта – Джек Алтаузен и Александр Жаров. Они бы тоже хотели ездить в Па-риж и в Лондон и читать стихи Сталину, но им-то не предлагали! Бухарин Лу-говского называл на съезде как одного из самых одарённых, а над Жаровым издевался, Алтаузена вообще не вспоминал.

Извлечённые этими комсомольцами стихи надо было, конечно же, пони-мать в контексте: за всем этим ужасом, который Луговской описывает, слы-шится огромное и кровное родство со страшной природой суровой и злой рус-ской земли. Тут и лексика-то, право слово, детская: это малые дети, увидев отца в зимней, замороженной, стоящей колом одежде, говорят: “Стра-аш-ный... Зло-ой!”

Однако ж кому это объяснишь в 37-м году!

И что – вот он, тот самый капкан судьбы? Угодил? Щёлкнул?

Луговской торопится исправить положение. 29 апреля пишет своим близ-ким товарищам, уже поднявшимся высоко по карьерной лестнице, – Павлен-ко и Фадееву: “Вы знаете, что меня жестоко проработали за стихи юношес-ких лет, написанные в 1923 году...”

Вообще тут он несколько привирает, но суть ясна: стихи и правда ранние.

“Фактически проработка только начинается. 11 лет все читали эти стихи и ничего мне не говорили. В РАППе мне указывали на то, что в них сквозит любовь к России и вообще они с националистическим душком”.

И это – правда! РАПП кастерил попутчиков за излишние сантименты по поводу родимой земли, но прошло всего-ничего, и за те же стихи бьют ещё больнее, но ровно по противоположным причинам: мало любил, мало! И на-ционалистического душка мало!

“Я согласился напечатать их, чтобы показать в “Однотомнике” весь путь свой от “Сполохов” до “Жизни”, – продолжает объясняться Луговской, – А “Жестокое пробуждение” было для меня этапным стихотворением – я про-щался со многим дорогим для меня в русской жизни, прощался для перехо-да к новым мыслям и новым задачам, к новой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили.

Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою родину так, что и не стоит касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огром-ной болью, отказавшийся во имя Революции от многого бесконечно доро-гого для меня, должен принять на себя обвинение в том, что я ненави-дел Россию”.

Дальше Луговской, едва не разрывая на груди рубаху, кричит об очевидном: “Я писал 22-летним парнем об ушкуйниках, олонецких лесах, о страшной тьме и об удали старой Руси... А мне говорили коммунисты раньше о том, что это национализм, что я не признаю других стран, что у меня нет чувства интернационализма, что я с рождения отдал себя в рабы России и скрывал это...”

И что в итоге?

“Теперь меня будут прорабатывать “во всех организациях”, как сказано в постановлении. Но я не боюсь этого. Я одеревенел. После “Свидания”, “Большевиков пустыни и весны”, “Полковника Соколова” и “Кухарки Даши” мне это как русскому человеку не страшно – я сейчас пишу “Книгу доблести” о русских людях... и любой алтаузен мне скажет, что я перестроился по постановлению президиума”.

Письма этого Луговской не отправил. Возможно, подумал: а зачем переваливать свои проблемы на товарищей? Или просто не успел отправить, потому что от Фадеева, обладавшего врождённым чутьём на подобные события, пришла короткая и прямая весточка: “Оставь Москву на время, езжай куда-нибудь”.

К 21 мая 1937 года из всей редколлегии журнала “Знамя”, где работал Луговской, на свободе остались он и ещё три человека.

Надо было ехать.

В мае 1937-го Луговской уже в Баку, в компании с тремя поэтами: Павлом Антокольским и своими учениками Маргаритой Алигер и Павлом Панченко.

“Живём мы очень дружно, – писал в Москву Павел Антокольский, – всякие маленькие возлияния с большими чувствами стараемся тщательно обойти, и это почти удаётся <...> С Луговским мы дружим заново. Это всё-таки большой, страстный человек, много видевший и хорошо запомнивший”.

У Луговского в поездке свой тайный резон, о котором он своим товарищам не сообщает.

Он всё ещё хочет вернуть Сусанну Чернову, свою Сузи.

Всякий раз, когда семейная жизнь его, казалось бы, окончательно разваливалась, Луговской проявлял себя неожиданно твёрдо, по-мужски, ретиво бросаясь спасать то, что сам разрушил.

– Не могу оставить свою женщину, покинуть её не могу, – однажды признавался он своей сестре. – Я создаю невозможные условия, это я могу, а оставить – нет, не могу.

На этот раз он в качестве безусловного доказательства своих чувств едет в Баку с целью совершенно неожиданной. В Баку у родни жил ребёнок Сусанны от первого брака. Его его забирает и привозит в Москву: смотри, милая, вот твоё дитя, оно будет наше, будем жить вместе.

Может быть, он думал ещё, что в семье можно спрятаться от бешеного времени. Вот я, вот любовь моя, вот дитя – кто посмеет нас убить?

Как бы то ни было, редкая женщина устоит при виде такого поступка, если в ней, конечно, сохранилась хоть малая толика чувства к мужчине. В Черновой сохранилась.

Они вновь сойдутся.

За эту женщину стоило бороться.

В разлуке, когда Луговской уезжал, она ходила к его отцу на могилу, по долгу сидела на кладбище. Объясняла это Луговскому тем, что через отца особенно остро чувствовала его, своего любимого.

Помимо того, что Луговской обожал покойного родителя, он, конечно же, ещё и обладал отличным эстетическим вкусом, посему мог оценить этот жест любимой женщины: в посещениях Черновой могилы его отца было что-то античное, пронзительное. Как не дорожить такой женщиной!

К тому же она понимала поэзию и умела об этом говорить.

Незадача была только в том, что из Баку Луговской в те же дни писал другой своей любви – Ирине Голубкиной: “Вы не ответили мне на письмо. Это очень тяжело для меня. Я всем своим существом понял Вас и пережил каждую строчку, которую Вы писали. Но Вы не узнали бы меня сейчас. Несправедливости, прямая инсинуация, травля, личное горе, ужасное нервное состояние приводили меня за это время не раз к тому, что смерть я видел совсем рядом: мне просто хотелось заснуть.

Я опять обращаюсь к Вашей человечности, к памяти о наших старых днях, когда мы так много давали друг другу. Ответьте мне, напишите письмо”.

Здесь можно сказать так: Луговской был человек эмоций ярчайших, но коротких. Любовные его отношения напоминают поведение неизлечимого алкоголика: в который раз давая самые серьезные обещания и себе, и близким, он всякий раз неизбежно срывается.

А можно сказать иначе: Луговскому было ужасно плохо, и он искал защиты у самых близких людей, и заботясь о ребёнке Черновой, и взывая к Ирине Голубкиной – матери своей дочери.

В конце концов, может быть, он одновременно любил и Сузи Чернову, и Голубкину Ирину?..

Нет?..

Заговор учеников

Насколько возможно успокоив дыхание, Луговской пишет пояснительную статью “О моих ошибках”, которую в июньском номере публикует журнал “Знамя”: “Жестокое пробуждение” – это прощание с прошлым, прощание с любимой женщиной, в образе которой сквозят черты России, но которую отнюдь не следует отождествлять с Россией. Стихотворение полно противоречий, но я не думаю, что можно найти ненависть в таких строчках...”

Особое иезуитство литературной жизни тех времён состоит, например, в том факте, что осенью того же года секция поэтов Союза писателей в лице Суркова, Голодного, Кирсанова и всё того же Алтаузена поручит написать Луговскому статью про Маргариту Алигер совместно... с Жаровым. Сначала эти двое комсомольцев чуть не спихнули Луговского в яму, а потом говорят: работать будем в одной упряжке, брат, да? Ты же брат нам? Или как ты считаешь?

Да никак не считаю.

Статью Луговской с Жаровым не будет писать.

Зато в 37-м Луговской переезжает из маленькой квартирki на первом этаже в Доме Герцена, где ютился с матерью, в престижнейший писательский дом – в Лаврушинский переулок, в большую квартиру на седьмом этаже.

Ежедневно Луговской в нетерпении ходит смотреть, как ремонтируется его квартира. Однажды явится пьяный, подерётся со сторожем, и об этом напишут в “Литературной газете”. Мало ему было постановления!

“Я много думаю о квартире, – пишет он Сузи, – потому что это новая и человеческая жизнь для нас с тобой. Я буду о тебе заботиться, буду рядом с тобой, у нас будет общая жизнь – как это славно!”

Наконец, всё готово. Мама, Сусанна – все вместе празднуют новоселье, теперь у них, наконец, есть собственное жильё. Чем не повод ощутить себя счастливым и достигшим многого? Учитывая то, что десятки миллионов сограждан Луговского ютятся в бараках и коммуналках.

Семейство его соседствует с Борисом Пастернаком (живёт этажом выше) и всё той же Маргаритой Алигер (которая будет безмерно уважать Луговского, искать у него человеческой и мужской защиты, как у образчика выдержанности и стойкого упрямства), туда же собираются поселить Михаила Булгакова и его Елену Сергеевну.

А Алтаузена и Жарова там не поселят – вот незадача какая!

Жизнь, пока жив, – разноцветная.

Новый 38-й год Луговской встречает в Тбилиси – там празднуют 850-летие “Витязя в тигровой шкуре”; они крепкой компанией – с Тихоновым и Антокольским. Трое товарищей, ни словом, ни делом не предавших друг друга. Хотя Луговской уже успел выступить против Сельвинского (на Пушкинском пленуме) и Пастернака (в прессе), а Тихонов... Он постепенно становится литературным начальником и шаг за шагом, раз за разом провожает многих из своего ленинградского литературного окружения в тюрьму.

Кавказ традиционно даёт забыть, но совсем ненадолго.

В первом номере журнала “Знамя” за 38-й год прилетает Луговскому камень из прошлого года: выходит статья Елены Усиевич “К спорам о политической позиции и дискуссии в Доме писателя об ошибках и достижениях Вл. Луговского”. Он бы предпочёл, чтоб все об этом забыли. Тем более, что это та самая Усиевич, которую Горький обвинял в покровительстве Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову; такая поглядит тебя по голове – и головы не сносить.

Сузи уходит уже окончательно, в том числе и потому, что в короткое время она и мать Луговского друг друга возненавидели. Певица и пианистка

категорически не нашли общего языка. Жизнь под одной крышей разлучила Володю и Сусанну быстрее, чем жизнь порознь.

Сестра Луговского Таня вынуждена была поселиться с матерью и братом. В 1938 году в письме своему другу она пишет, что Володя “ночью в пустой квартире ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу – до того грустные – фокстроты, с этого дела можно повеситься”.

Ну и, наконец, в довершение ко всему, Луговского пару раз вызывают... в НКВД, пообщаться в целом о литературных нравах.

В первый раз он, не в силах справиться с ужасом, выпил бутылку водки и явился пьяный. Разговаривать с ним офицер НКВД не смог, поэта отправили домой.

Во второй раз он, получив повестку, выпил уже осмысленно и, явившись к “энкавэдэшнику” в облаке перегара, первым делом попросил глоток пива.

Пиво, как ни странно, у следователя было, и Луговскому дали похмелиться. Он отпил и упал лицом на стол.

Всё это отдаёт анекдотом; но в той эпохе слишком много случалось подобного, когда дурная шутка могла стоить жизни, зато абсурдное поведение – спасти от гибели.

Луговской тогда начал неожиданно быстро сесть.

Видимо, он догадывается о том, о чём многие не успели догадаться: чем меньше проводить времени дома, тем меньше шансов застать тебя непрошеным гостям.

Весной он сматывается из Москвы и не появляется дома почти полгода. И всё это время фактически не публикуется.

Евгений Долматовский рисует красочные и местами даже забавные картины: в мае 1938 года, по первому же звонку собираются в квартире у дяди Володи его любимые ученики: Константин Симонов, Яков Кейхгауз, Борис Лебедев, Павел Панченко, Маргарита Алигер и сам Долматовский, который, между прочим, Литинститут окончил в 37-м и, вообще говоря, свободен.

Луговской с лёту им читает замечательную лекцию о том, что “на берегу Каспийского моря лежат невиданные россыпи жемчугов поэзии”.

– Едем в Азербайджан! – объявляет Луговской.

В недрах Союза писателей была задумана антология азербайджанской поэзии, и Луговской получил право в кратчайшие сроки её создать.

“Мы были тогда легки на подъём, – рассказывает Долматовский, – и через два дня в старом и тесном самолёте поднялись с Быковского аэродрома в низкие, серые тучи. Долго-долго летели мы, садились и в Воронеже, и в Ростове, и в Минеральных водах, и в Махачкале, и ещё где-то. Самолёт был маломестный, с дверьми, закрывающимися на крючки...”

На второй день наша экспедиция увидела под крылом золотую подкову огней и в ранних сумерках ступила на сухую и жёсткую бакинскую землю.

Луговской привёз нас в гостиницу “Интурист” и сам разместил по отличному номерам, в которых нам живать ещё не приходилось.

Вместе с Самедом Вургун повёл он нас, ещё не оправившихся от боли в ушах, по ночному Баку, где он знал каждый закоулок старого города. Никаких разговоров о предстоящей работе не было, и мне даже показалось, что просто приехали отдохнуть, бродить по дорогам поэзии, наслаждаясь священным дружеством и бездельем.

Но не успело утро раскалить номера гостиницы, как Луговской собрал нас и объявил, что отныне мы являемся его рабами и должны переводить с десяти утра до семи вечера... В связи с адской жарой нам разрешено попарно сидеть в ваннах с горячей водой, а также заворачиваться в мокрые простыни. До окончания дневной работы размещённые по двое переводчики не имеют права выходить из номеров и посещать соседей.

Ежедневно дядя Володя и Самед Вургун будут появляться к окончанию работы и собирать урожай. Плохие переводы подлежат утоплению при помощи коммунальных средств.

Это была весёлая игра, впрочем, ставшая режимом нашего довольно длительного пребывания в Баку”.

Заставляя вкалывать учеников, Луговской вроде как трудился и сам, но, как уверяет мемуарист, “гораздо меньше по времени и гораздо плодотворнее – сказался его большой опыт и глубинное знание азербайджанской поэзии”.

Ну да, ну да.

“Обычно, немного поработав утром, Луговской с таинственным видом исчезал из гостиницы, чтобы на короткий срок появиться снова и снова исчезнуть. У него в Баку было огромное количество друзей, не только писателей, но и нефтяников, моряков, партийных работников”.

... Или жён моряков, нефтяников и партийных работников.

“Однажды добровольные рабы дяди Володи восстали”, – сознаётся Долматовский.

“Симонов, разговаривая с Москвой, сказал примерно следующее: “Дядя Володя заставляет нас всё время работать, а сам сидит, наверное, на коврах и ест плов. Вот мы восстанем и свергнем его, эксплуататора и любителя плова”.

“А в то время, – уточняет Долматовский, – разговоры с Баку велись по радио и даже забивали порой в приёмниках звучание бакинской радиостанции. Наш мучитель действительно сидел в гостях на ковре и ел плов. Хозяева угощали его так же телефонными разговорами, принимаемыми по радио... Мрачнейший мастер явился к вечеру в гостиницу”.

Всё в этой истории замечательно.

Нет, понятно, отчего Симонов восстал: в 23 года он был уже достаточно успешным литератором (ему не будет и тридцати лет, когда он станет одним из руководителей Союза писателей, оставив дядю Володю далеко позади). Он публикуется с 1936 года и уже успел издать успешную поэтическую книжку “Настоящие люди”, к тому же он по крови – дворянин, такие вещи не стоит сбрасывать со счетов.

Однако дальше всё не так ясно. Кому это Симонов рассказывал про “дядю Володю”? Тёте? Или другому дяде?

Что это за телефонные разговоры, что прямиком попадают в радиовещание? Как же бедные азербайджанцы слушали радио в 1938 году и не сошли с ума? Или, может быть, Луговской сидел и ел плов в каком-то другом доме, где радио слушать было не обязательно, зато можно было послушать непосредственно телефонные разговоры?

Как бы то ни было, закончилось всё мирно: “Мы потом долго замаливали перед ним этот греховный телефонный разговор, – сообщает Долматовский. – Восстание было предотвращено, а антология азербайджанской поэзии вышла в 1939 году в Гослитиздате”.

История почти идиллическая, думая о ней, невольно улыбаешься. Правда, есть тут некоторые омрачающие моменты, которые скрыты.

Например, у Долматовского в 1937 году арестован отец, работавший юристом. Евгений Долматовский сидит в горячей ванне и переводит касыды и газеллы, а отец? Отец – он где сидит?.. С Долматовским многие не общаются, обходят его стороной, но не дядя Володя: тот ведёт себя ровно противоположным образом.

Безвозвратно исчезают несколько ближайших знакомых Луговскому по Средней Азии военачальников, дружбой с которыми он так неосмотрительно бравировал. “Туркестанские генералы” – те, гумилёвские, помните? “Что, нога болит?” – “Нет, прострелен навывлет”.

И сам Луговской – весельчак, выпивоха, жизнелюб – пишет из Баку сестре Татьяне: “Внутри страшное горение и творческая тоска, когда одни явления видишь во всей их оголенности, а другие залиты густым туманом чего-то мучительного и вытягивающего все нервы... Чем больше пишешь и лучше, тем больше утончается все восприятие, и доходит это до психоза и нервной незащитности... Ночная тоска. И отворено множество новых дверей, откуда несет сквозным и горьким запахом творчества”.

И хотя здесь через каждое слово пишется “творчество”, неизбежно ощущение, что пишет он о чём-то большем, чем поэзия.

Или – меньшем.

Чёт, нечет и почёт

К ноябрю 1938 года у Луговского выходит очередная книга. Называется – “Октябрьские стихи”, содержание соответствующее.

“Светлый гром / Октябрьского парада / Раскрывает / Тайну бытия” – всё, как надо, там, в этом сборнике. “Сталин / движет к югу эшелоны, / Ворошилов / бьёт издалика, / Ленин / входит в зал белоколонный, / И Дзер-

жинский входит в ВЧК". Всех расставил по местам, никого не забыл, эти входят, движут и бьют, а Троцкий уже вышел.

В ту же осень выходит на экраны фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" — одна из важнейших советских картин предвоенной поры. Вся страна слышит песню, сочинённую на стихи Владимира Луговского: "Вставайте, люди русские, / На смертный бой, на грозный бой!"

Казалось бы, всё устраивается, всё хорошо. Книжка, фильм, песня.

Однако настораживает: в рецензиях на "Александра Невского" постоянно цитируют стихи Луговского, а имени автора не называют. В чём дело?

Наконец, 5 ноября, за два дня до великого советского праздника, в газете "Правда" выходит разгромный фельетон Валентина Катаева "Вдохи и выдохи" на книгу Луговского.

Катаев тогда вообще имел привычку погромить, злой был.

Ладно бы Катаев, но это же высший партийный орган! Это же "Правда"!

И в "Правде" пишут: "...неувядаемый образец пошлости и политической безответственности!"

Луговского второй раз валит с ног.

Да, он, затравленный и задавленный, в чём-то солгал, сочиняя свои "Октябрьские стихи". Но зачем об этом собрат по литературе прокричал на весь Союз социалистических Советов?

И как ему жить теперь? Как ему писать? Как ему смотреть в глаза ученикам, которых он вчера погонял, и они беспрекословно слушались? Куда он поедет после такого фельетона? В какой Туркменистан, в какой Азербайджан? На него все будут смотреть, как на прокажённого!

В это время Луговской привычно отсиживался, на этот раз в Крыму. У него, между прочим, происходил кипучий роман с женой репрессированного военачальника — фотокорреспонденткой Вероникой Саксаганской. В этом смысле наш поэт был рискованным парнем, если не сказать хуже.

И вот газета лежит возле кровати, Вероника и не знает, как на сложившуюся ситуацию смотреть: "Что, и — этого теперь?.."

Луговской мечется: в прошлом году во время проработки Фадеев советовал ему уехать, а в этот раз как быть? Когда он и так уже уехал? Утонуть?

Кое-как собравшись с мыслями, Луговской снова пишет Фадееву — это ведь ему в том же 38-м Луговской посвятил трогательные стихи: "Уезжает друг на пароходе, / Стародавний, закадычный друг..."; — где сказано: "Долго жили мы и не тужили / И тужили на веку своём, / Много чепухи наговорили, / Много счастья видели вдвоём..."

Письмо огромное, страниц на десять, — Луговской выкладывает всё, что накопело в последние годы.

"Меня глубоко обидели".

"В чём дело? В неважных стихах "Октябрьской поэмы". Но ведь "Правда" день за днём печатает вещи на гораздо более низком уровне... Я найду тебе в десятках стихов Сельвинского и Асеева строфы куда более неудачные, мягко выражаясь. В "повышении качества"? Но ведь нельзя одной рукой систематически понижать качество стихов, как это делает литературный отдел "Правды", а другой писать подобные пришибевские фельетоны, долженствующие насадить красоту в садах советской поэзии".

"Как раз эти стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом стремился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а линия".

Слово "линия" Луговской подчеркнул.

Фадеев отвечать не стал, может, и сам не знал ответа. Хотя в данном случае ответить можно было бы просто. Советская власть хотела не только того, чтобы поэты перестроились. Она хотела, чтобы, перестроившись, поэты работали всё так же хорошо, как до перековки. Чтоб стихи у них были, как у раннего Луговского, но про новое, про сейчас!

В результате советская власть огорчалась, что перестраиваться они перестраиваются, а работу делают всё хуже. И всё хотела что-то подкрутить, подтянуть, подтесать у *инженеров человеческих душ*, чтоб они заискрились как следует.

"Прекрасный поэт Пастернак, — жалуется Луговской Фадееву, — которого в нашей печати, в политической печати смешивали с грязью, за два года не

написал ничего нового, ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднял на щит...”

“Значит... — пытается понять Луговской, — но что же всё это значит? Ты сам... недавно сказал мне, что лучшая моя книга — “Страдания моих друзей”, т. е. книга, написанная до внутренней перестройки моей поэзии. Может быть, ни к чему было ломать копыта?”

“... со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли “сталинское внимание к человеку”?.. Из меня сделали обезьяну и вышвырнули вон...”

Воистину обидно: душу отдал, лиру отдал, к тому же искренне, по зову сердца, и что взамен?

“Я рад был бы самой жестокой критике, клянусь всей своей честью поэта, клянусь именем Сталина. Я погрустил бы, поёжился, но понял бы всё и, в конце концов, поблагодарил. Но в выступлении “Правды” перед Октябрьским праздником с таким фельетоном было нечто для меня унижительное, а всё дальнейшее только усилило это чувство непонимания и стыда...”

Книг Луговской три года выпускать не будет — иначе поймут твоей же собственной строчкой, как удавкой, опять будут душить. Ну бы к чёрту, лучше переждать.

Новый, 39-й, Луговской встречает с Константином Паустовским и разномастной компанией (бывший символист Георгий Чулков, писатель со странной и несчастной судьбой, крымский завсегда Николай Никандров) в любимой Ялте — он старался ездить туда каждый год, да не по разу.

“Взрослые люди превратились в детей, — посмеивался Паустовский. — Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопчённую по-черноморски... Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на ёлке. Луговской заведовал ёлочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние... Но за два часа до того, как надо было зажигать ёлку, по всему дому разнёсся крик: “Володя приехал!” Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ, как я нашёл эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена”.

Сам Паустовский раскрашивал гуашью флаги разных государств и признавался: “Если бы не Луговской, то ничего путного бы у меня не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как “карманная” республика Коста-Рика”.

Пили, пели, едва уgomонились.

Утром Паустовский удивлялся: “Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин”.

Луговской говорит ему:

— После завтрака мы поедем в горы, за Долоссы. Я сговорился с одним отчаянным парнем-шофёром. День короткий. Дорога головоломная, обратно в ночь не поедем.

“Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем казалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о неё и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибор”.

Заночевать в лесу... над пропастью. В Крыму, зимой, в 39-м году...

Готовое стихотворение!

Мало Луговскому пропастей было за последние времена, но что-то потянуло ещё раз. Быть может, пытался себя заговорить таким образом: год начнём у самого обрыва, а дальше обрывов не будет.

И угадал.

1 февраля Луговской получает орден.

То есть не он один.

Массовый террор прекращается, и переживших нервные перегрузки литераторов награждают купно — к награде представляют сразу 172 инженера *человеческих душ*.

Все фамилии пропускают через ведомство Лаврентия Бери, оттуда сообщают, что имеют компрометирующие материалы на часть представленных

к награде. На Толстого Алексея Николаевича. На Асеева. На Катаева. На Леонова. На Павленко. На Светлова. На Каменского. И на Владимира Луговского.

Сталин отодвинет эти папки — хватит уже врагов народа. Никого из названных больше не тронут. Может, заодно вождь вспомнил, как Луговской за него неудачно тост поднимал. А может, и нет. Там, на встрече, были другие, кто поднимал удачно. Это их не спасло.

Литераторов награждают тремя разными наградами, расставив по ранжиру. Одних — орденом Ленина: Шолохова, Асеева, Фадеева, Катаева, Павленко, Тихонова...

Вторых — орденом Трудового Красного Знамени: Всеволода Иванова, Леонова, Паустовского, Кирсанова...

И, наконец, третьих — орденом “Знак почёта”: Каменского, Антокольского, Инбер, Луговского и, кстати, трёх его уже дослужившихся до наград учеников — Алигер, Симонова и Долматовского.

Теперь Луговской, да, на хорошем счету. Пусть и не на самом лучшем — Тихонова и Кирсанова оценили выше.

Но, что скрывать, он всё равно счастлив. Счастье это было огромным, шумным, орденосцы узнавали о своём награждении из свежей “Правды” и шли с шампанским из дома в дом, как уже пару лет не ходили. Господи, весь этот кошмар минувших двух лет закончился, а то, что “Знак почёта”, а не орден Ленина — так тут, в конце концов, грех жаловаться: помнится, Бухарин называл его в одном ряду с Борисом Корниловым и Павлом Васильевым — и где они теперь? И Корнилов, и Васильев, и сам Бухарин? А Луговскому звонят из Кремля и говорят: “Спасибо вам, товарищ Луговской, за вашу молодёжь!” — так оценивают его литинститутскую поросль. А 7 февраля он идёт к Спасской башне, и оттуда в Кремль, где ему вручает орден сам дедушка Калинин, и он снова пьёт шампанское на банкете, запивает водкой, и косится на первую в его жизни и очень весомую государственную награду. Фадеев подмигивает: “Я же тебе говорил, Володя! Я же тебе говорил, что всё исправится!..”

Ранней весной Луговской снова уезжает в Крым — теперь уже не прячется, теперь — заслужил.

“Мы ехали из Ялты в Севастополь, — вспоминает Паустовский. — Сумерки застали нас около Байдарских ворот... Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо. Я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть, за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим, нежнейшим светом.

— Это загадочно светящиеся облака, — сказал Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперение исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье”.

Оттуда перебрались на катере с матросами в Севастополь.

“Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу возле одинокого пристанского фонаря... — пишет Паустовский. — Тихо запел. Он пел для себя...”

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени...

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обречённой на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?

— Похоже, певец, — ответил из темноты неуверенный голос”.

Интендат 1-го ранга

Через неделю после вторжения Германии в Польшу, 7 сентября 39-го, Луговскому присуждено очередное воинское звание. Приказ Климента Ворошилова.

Долматовский писал: “Луговской получил три шпалы на петлицы и очень гордится этим. Военная форма ему идёт, он это знает и немножко красуется”.

О том же писал другой его ученик, Наровчатов: “Как влитые сидели на нём шинель, гимнастёрки, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком по середине лба. В сапоги глядись, как в зеркало. . . Интендант 1-го ранга, но, конечно, именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид”.

Интенданту 1-го ранга тут же предоставили возможность оправдать доверие партии и правительства.

Группа литераторов – Пётр Павленко, Борис Левин, Долматовский, Луговской – получает приказ выехать в Смоленск.

“Пятнадцатого сентября в Смоленске, – вспоминает Долматовский, – бригадный комиссар Абрамов вызывает нас вдвоём с Луговским. Нам предложено написать песню, с которой советские войска могли бы, если окажется необходимым, перейти границу и освободить из-под панского гнёта Западную Белоруссию и Западную Украину”.

В краткие сроки Луговской и Долматовский сочиняют боевые куплеты для того, чтобы воевать было веселей: “Белоруссия родная, Украина золотая, / Ваши светлые границы мы штыками оградим, / Наша армия могуча, мы разведем злую тучу, / Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим”.

Песню про злую тучу назовут “Марш красных полков”, и она будет петься во всех частях.

Границу поэты переходят в составе кавалерийских частей генерала Черевиченко.

“Мы словно сотню книг / в ту ночь перечитали. / В такую одну ночь / вмещаются года. / Ты, армия моя, / идёшь в броне и стали, / На башнях верный знак – / счастливая звезда”... Луговской чувствует себя на войне в своей шкуре, на своём месте, он по-гумилёвски упивается... Тем более на такой стремительной, победоносной войне, где все рубежи рассыпаются при виде советских танков.

Уже в 39-м году он сделает целый цикл хороших, империалистических стихов.

“Вынув пистолеты, / мы входим в дом. / Зайчики играют на серебряной посуде. / За тяжелоногим дубовым столом / Час тому назад сидели люди. . . / В зеркале застыл ещё туманный след, / Жизнь чужая / медлит, / замирая слабо. . . / Где она оборвана – мне дела нет... / Дом предназначен для нашего штаба”.

Или другое такое же, даже не по-гумилёвски, а по-багрицки – почти сладострастное:

“Панна, панна! / Всё пропало. / Обыск медленный идёт. / Из холодного подвала / Поднимают пулемёт. / Он стоит на толстых ножках, / Плотный, тёмно-голубой, / Золотистую дорожку – / Ленту / Тянет за собой. . .”

“Дальней пули свист внезапный. . . / Пятый день идём на запад”.

Красноармейцы дарят ему трофейную саблю – он её тут же цепляет на пояс.

Любопытный момент: уже на территории Польши Луговской с Долматовским попадают в здание польской полиции. И там они – впервые в жизни – видят наручники и резиновые дубинки. Невидадь!

В Вильно Луговской, Долматовский и старый знакомый Кирсанов получают очередной приказ: срочно наладить выпуск газеты в редакции эмигрантского “Русского слова”.

Едут по указанному адресу, по-хозяйски стучат в двери, грохочут, входя, сапогами, грозно взирают на остатки перепуганного коллектива. Откуда местным журналистам знать, что перед ними поэты, циркачи стиха, а не зубастые чекисты и расстрельная команда.

Кто-то из троих аккуратно берёт последний номер газеты в руки – там же ж крамола и антисоветчина должно быть! – а на первой полосе шапка: “Советские войска наступают! Гитлер застрелился!”

Эмигранты, стоит признать, оказались прозорливыми, но чересчур оптимистичными в своей прозорливости.

Номер делают за ночь. Утром выясняется, что тираж распространять некому: главред арестован, разносчики разбежались. Недолго думая, Луговской

и Кирсанов сами выступают в качестве продавцов газет. Ажиотаж огромный, номер рвут из рук...

К ноябрю Луговской вернулся в Москву, снова Литературный институт, снова восторженные ученики: дядя Володя в скрипучих сапогах вернулся с очередной войны. Между прочим, Сергей Михалков в те годы Луговского знал хорошо – кто ж его не знал! – и вполне мог дядю Стёпу срисовать с этого великана, перемещавшегося из одной “горячей точки” в другую. Разве что литературной детворе, любившей этого великана, было лет под двадцать.

Той осенью Луговскому позвонил его ученик Михаил Луконин.

– Знаю, знаю, о чём хочешь поговорить, – опередил Луговской, – Жду тебя.

В ноябре 1939 года, сразу после польской кампании, началась война с Финляндией или, как говорили тогда, с белофиннами.

Сегодня уже трудно осознать, насколько велика была вера в Советскую власть, вождя и правоту народа, – на войну, в том числе из Литературного института, буквально рвались.

Проходили очень строгие собеседования, молодых поэтов пытались отговорить, без обиняков рассказывая, что там скоро будут чудовищные, даже по русским меркам, холода, что там со многими случается смерть.

Студенты шли к Луговскому за благословением: идти в бой, дядя Володь? Он благословлял: идите.

Благословил Луконина, благословил других: с курса ушло на фронт восемь поэтов.

Может быть, Луговской думал, что и в Финляндии всё будет так же стремительно и мощно, как в Польше.

Но там уже было не так. Там было совсем иначе.

Ученики хотели стать его наследниками. Кто ж знал, что он не сможет принять наследство.

... Когда Луконин вернулся с финской, вся его группа собралась у Луговского дома. Сабли на стенах, кинжалы, винтовки. Хозяин радушен, мощен, красив.

Говорил своим басом смущённому и чуть озадаченному Луконину:

– А поворотись-ка ты, сынку! Да он славно бьётся! Добрый будет казак! – роскошные брови сомкнул. – Вот что скажу: война – твой главный литературный институт, сынку!

Луконин, написавший о Луговском добрые и проникновенные воспоминания, эту московскую встречу опустил, не описал. Что-то в ней есть... лишнее.

Уходил он на финскую ещё с двумя поэтами с курса Луговского. Николай Отрада, тоже сталинградский, как и Луконин, – он сам его и вытащил в Москву, – и Арон Копштейн. Эти двое попали там со своим отрядом в засаду.

Отраду сразу убили наповал. Арон был парень грузный, неповоротливый – еле уговорил его взять на фронт! – теперь он, чертыхаясь, видный издалека, пополз за ранеными. Финны снова начали стрелять, Копштейна ранили, в шоке он встал и тут уже получил пулю в переносицу.

Вот тебе и “сынку”!

“Мужественно встанет мой наследник... настоящий воин и поэт...”

Вилла короля

Весь 40-й год Москва писательская следит за новостями, многие напряжены, но Луговской по-прежнему – по крайней мере, пока его видят, – бодр, самоуверен.

Он приятельствует с Ильёй Эренбургом, вернувшимся в СССР. У Эренбурга сразу начались нервные времена: он написал “Падение Парижа”, Сталин оказался не очень доволен этой вещью и не давал роману ход. Многие коллеги по ремеслу смотрят на нежданного французского гостя с тяжёлым сомнением – часом, не шпион ли? – но не Луговской. Он знает, чего стоит помощь в трудные дни, сам ждал помощи совсем недавно и редко когда дождался.

Летом 40-го Луговской и его ближайший младший товарищ Долматовский уже в Прибалтике, колятся по только что, так сказать, вошедшим в состав СССР Литве, Латвии, Эстонии, выступают в красноармейских частях. Луговской меньше читает стихов, больше рассказывает солдатам о Европе, –

может, понимает, что поэзии им хочется меньше, чем разговора. К тому же, солдатам, призванным из своих, переживших недавнюю коллективизацию деревень, сложно сообразить, отчего они освобождают людей, которые живут лучше их, хоть и во многих селениях встречаются советские войска цветами... Да, такое было.

Луговской мало того, что профессиональный политработник, он ещё и видел Европу, не только их палисадники и фронтоны, но и фашистские марши, и безработицу, и нищету, и общался с европейскими коммунистами, он кое-что действительно понимает и находит нужные, человеческие слова для объяснений.

В Латвии Луговской и Долматовский обнаружили за собой слежку.

Раз присмотрелись, два – да, точно, за ними ходят.

Шпика задержали. У него при себе имелись несколько фотографий. На одной из них было написано сзади: “Русские офицеры Луговской и Долматовский, приехавшие под видом поэтов”.

Собственно, шпик совсем не ошибся.

Им предоставляют “фиат” для поездок, и Луговской снова попадает в аварию, да не в одну. Долматовский иронически подмечает, что “фиат” легко проходил любые ухабы, но с неожиданной ловкостью переворачивался на ровном месте. И так – три раза!

Луговскому, с его пробитой головой и ломаными рёбрами, перемещение на “фиате” наглядно и шумно не нравится.

Тем не менее, у него есть цель, о которой он даже Долматовскому не говорит. Дядя Володя что-то хочет найти.

Однажды вечером они, наконец, приехали к небогатой вилле под Таллином.

В окне мерцал огонёк.

Долго ходили вокруг... Луговской о чём-то думал, сомневался.

Долматовский спрашивает:

– Кто там?

Думал: может, женщина какая?

Там сидел одинокий, никому не нужный, постаревший и обедневший человек.

Луговской грустно посмотрел на молодого товарища и отвечает:

– Игорь Северянин. Знаешь?

Самый популярный в России поэт предреволюционной поры Северянин, получив в 1918 году на поэтическом конкурсе звание “короля поэтов” – обойдя при этом самого Маяковского! – эмигрировал в Эстонию. И теперь, не сходя с места, не выходя из виллы, вернулся опять в Россию.

Долматовский, конечно же, знал Северянина. Но ему было три года, когда Северянин уехал, а позже этого сочинителя в Стране Советов уже не публиковали.

– Стоит зайти, нет? – улыбаясь, спросил Луговской у Долматовского, поглядывая на огонёк.

Долматовский пожал плечами. У него всё-таки сидел отец, и он был уже не настолько юн, чтоб совершать необдуманные поступки.

Покурили и двинулись назад к машине.

Водитель “фиата” говорит:

– Что? Уже назад? Вроде свет горит в доме...

Может, Луговской решил, что заедет позже.

Но Северянину оставалось жить меньше года.

Какая странная могла бы получиться встреча: первый поэт прошлой эпохи и первый поэт эпохи новой. А разница между ними образовалась – словом в целый век.

Ухожу на фронт

“А время движется. И войны, и судьба / Идут навстречу нам, и темная резьба / На лбах упрямых всё ясней, и сроки / Уже приходят...”

Довоенной зимой 41-го опять сдружились с Фадеевым. Гуляли по Сокольникам, Луговской гостил у Фадеева на даче, попивали кагор прямо из бочонка.

Жизнь снова была разноцветная: у Луговского в конце 40-го начался роман с удивительной женщиной – Еленой Сергеевной Булгаковой (Шиловской),

вдовой Михаила Булгакова, прообразом Маргариты из того романа, который Луговской вскоре прочтёт в рукописи.

Что могло сблизать Булгакова и Луговского в глазах Елены Сергеевны? Ничего.

Ну, разве что, какие-то очень внешние детали. Оба происходили из семей священников. Оба были старшими детьми в большой семье. Оба яркие, остроумные. Оба склонны к тайной меланхолии. Оба литераторы, переживающие периоды удач и неудач: не сопоставимых, конечно, по сути, но по форме схожих: недоброжелатели, проработки, интерес высочайшего лица.

Но Луговской, конечно же, более молодой, более большевистский, более шумный, внешне более крупный, внутренне – более лёгкий, и он увлекает. Кажется, она не хотела сближения с ним, но так вышло: один из самых знаменитых московских покорителей женских сердец, военная форма, ремни, брови, орден, стихи, наконец... Смеялся заразительно и громко, “запрокидывая голову, показывая все свои ровные зубы” (это дочка Мила так запомнила отца). Одна из московских дам в сердцах назвала Луговского “полковник Скалозуб”. Но вообще все от него были в восторге, как тут устоишь!

Он относится к ней очень серьёзно: сначала знакомит с сестрой Таней (“Оденься получше!” – просит сестру), потом везёт в Ленинград на показ ближайшему другу Тихонову – как будущую жену.

И Фадеев знает об их романе. Но ему – вот ведь! – тоже нравится Елена, женщина, прямо скажем, немолодая, прожившая, шутка ли, полвека, но чем-то, должно быть, обворожительная по-прежнему.

Перед войной у матери Луговского случился инсульт. Речь пропала, мать слабела, растворялась, сходила на нет. Свою мать Луговской обожал. Быть может, даже больше всех своих женщин.

Выходить Ольгу Михайловну помогла Булгакова – делала любую работу, была необыкновенно заботлива и проста.

И к матери вернулась речь.

Фадеев, давно входящий в семью Луговских, так любил Ольгу Михайловну, что, едва она пошла на выздоровление, скупил три ларька цветов, нанял мальчишек и с их помощью приволок несколько охапок флоксов, завалив половину квартиры.

Что-то во всех этих картинах есть томительное, предвоенное, нежное.

Войну будто предчувствовали – и она пришла.

Ученик Луговского Юрий Окунев говорит: “Ещё несколько дней назад в Доме Герцена шли занятия, а теперь здесь разместился добровольческий батальон, почти целиком состоявший из литинститутовцев...”

Участник войны с белофиннами Михаил Луконин проводит занятие со своими бойцами... Комсорг батальона Сергей Наровчатов раскрывает планшет, достаёт блокнот, что-то записывает, а потом быстро выходит из ворот. Вдруг командир нашего отделения Михаил Луконин громко подаёт команду:

– Смирно! Налево равняйся!..

Мы поворачиваем головы и видим Владимира Александровича Луговского. Он медленно прошёл вдоль шеренги. Каждому из нас посмотрел в глаза. Как видно, хотел что-то сказать, но вдруг порывисто обнял и поцеловал Луконина, круто повернулся и ушёл”.

Луговской прикомандирован на работу в боевом листке Северо-Западного фронта.

Летом 41-го у него выходит книга, долгожданная, после длинного перерыва, – так и называется “Новые стихи”, с классической “Курсантской венгеркой”, с прекрасным стихотворением “Медведь”, сочинённым в Ялте, но всем теперь не до этого, даже ему.

Луговской так долго и уверенно двигался к решающему поединку, к огромной войне, и отправляется на фронт немедленно, в последнюю неделю июня. Если его студенты – такие добрые казаки, так чего ж тогда ждать от него, не первое десятилетие кочующего по фронтам и границам?..

26 июня он шлёт телеграмму Ирине Голубкиной, которая отдыхает с Милой на Селигере: “Ухожу на фронт. Целую тебя, дочку”.

Луговского провожает Елена Сергеевна и любящие ученики, ещё остающиеся в тылу. Оркестр, поцелуй и – огромная надежда, что всё это скоро закончится. Как у Луговского в книжке “Новые стихи”: “Вся граница / на тысячи

вёрст / На мгновенье / блеснула штыками. / И погасла. / И только вдали / Громыхало, / катилось, / гремело...”

Что всё так и будет: “вдали”.

Он садится на псковский поезд, и – всё.

Здесь капкан.

Капкан

Взывал к своей Советской Республике в блистательных стихах 1929 года: “Возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперёд!”

Просил? На!

В какой-то момент он, превозмогавший всё, что несла ему судьба, сам поверил, что и впредь сможет всё преодолеть.

Но если ты долго любишь на свою красивую жизнь, однажды тебе придётся посмотреть на свою некрасивую смерть.

Он всё знал про это, он же поэт истинный, он не раз и не два описал всё это заранее.

В 1926 году в “Биографии Нечаева”: “Вы знаете: я думал, морями брызгая, / Выстаивать вахты в белоснежном кителе, / А вышла дорога, до смерти замызанная / Сапогами разбитых и победителей”.

Будет тебе дорога, до смерти замызанная.

Он обо всём догадывался, когда в 1929 году писал в “Кухне времени”: “И мы в этом вареве вспученных дней, / В животном рассоле костистых событий – / Наверх ли всплывём или ляжем на дне, / Лицом боевым или черепом битым”.

На дне ляжем с битым черепом, на самом дне.

У него таких цитат – на целую книжку-раскраску. Дайте побольше красного, розового и кровавого, мы вам разрисуем.

В том же 29-м году жене Тамаре признавался в письме: “Вчера мне вдруг сделалось страшно. Это дикое состояние продолжалось несколько минут, но силы и остроты хватало бы на дни. Мир вцепился в моё сердце, как рысь. Вокруг разговаривали и хохотали. Я слышал каждое слово и в то же время болезненно отсутствовал. Я понял, что меня страшит тёмная сила существования, готовая дробить и мять. Я испугался. Тогда из этого страшного мира, из самой сердцевины его, вышла ты, девушка в широкой шляпе, девушка, которую я любил много лет назад... Честное слово, я рванул к тебе”.

А когда не к кому будет рвануться и лишь останется тёмная сила, которая дробит и мнёт в прямом смысле, а ни в каком не в переносном?

На первом съезде писателей, в 34-м году, выступая, Луговской публично загадывал три желания, как если бы у моря стоял: чтоб жить и работать ради великой Родины – раз, чтоб сила песни не покинула его – два, чтоб его не оставила “человеческая отвага” – три. Так и сказал.

Боялся, что оставит. Нечего было бояться.

За ним записали: ра-аз, два-а... Три! Спасибо, ждите ответа.

Поезд, на котором следует Луговской к фронту, попадает под ужасную бомбёжку.

Состав сходит с рельсов, всё разносит в клочья, сотни трупов, передавленных и раскромсанных, без голов, без рук, без ног, крики, стоны – ад. Ад. Луговской выбирается из покорёженного железа, весь в чужой крови: огонь, дым, пепел, смрад, мир вывернуло наизнанку – всюду одно мясо.

“Двинь, грохоча...”

“Вышла дорога...”

А они ещё и в окружении. Всех уже убили, а воевать только надо начинать. Оставшиеся в живых идут.

Добираются до Пскова.

Современник записывает: “Псков. 2 июля. Встретил вчера Луговского. Ему вчера исполнилось сорок лет. Он обрюзглый, потный (капли крупные), несёт валерианкой за версту”.

При одной только мысли о дальнейшем движении на фронт и продолжении службы Луговского в буквальном смысле рвёт: он явно болен. Болен напал.

Возвращается в Москву и ложится в Кунцевскую больницу.

Медицинская комиссия признаёт Луговского негодным к прохождению

воинской службы: тромбоз, полиневрит (множественные поражения нервов).

Здесь можно поставить точку: комиссован. Щщёлк!

Симонов вспоминает: “В первых числах августа 1941 года... у меня был приступ аппендицита, и я лежал на квартире у матери... В комнату, где я лежал, вошёл человек, которого я в первую минуту не узнал, — так невообразимо он изменился: это был Луговской, вернувшийся с Северо-Западного фронта.

Он страшно постарел, у него дрожали руки, он плохо ходил, волочил ногу...

Человек, которого за несколько месяцев до этого я видел здоровым, весёлым, ещё молодым, сидел передо мной в комнате, как груда развалин...”

Потом Луговской пытался как-то выкрутиться, сообщал, что в армии он был два месяца, с 23 июня по начало сентября 1941 года.

На самом деле — несколько дней — с 27 июня по 1 июля. Дальше он распался.

Фокус с физиономией, который показывал в детстве сестрам и маме, не прошёл. Судьба грозного лица не испугалась. Капкан сработал, мозг от боли разлетелся по всей голове. Великан осыпался, остался ссутулившийся голый человек, едва живой. Кожаные форменные ремни впечатались в слабое, белое тело. Снимешь ремни — на теле крест.

Если бы его хотя бы ранили! Самую маленькую, но рану! Чтоб сказать потом: с начала войны в действующих войсках, ранен, комиссован. Нет! Милосердие Господе безгранично, но что-то ещё есть помимо.

На Луговском не было ни царапины. Контузия вроде была, но не сильная. Только душа изуродовалась и запахла человеком, в котором жила. А до тех пор ведь ветром была полна, одним только ветром.

...Какая-то, может, имела нацеленность в его судьбе на ужасную аварию: самолёт и машина в Таджикистане, в Париже автобус чуть не убил его, лавина эта в Белькомбе, в 36-м — пробитый череп в очередной автокатастрофе, с Долматовским три раза перевернулся в Прибалтике... Где-то его ангела должны были сбить. Вот, видимо, сбили первой же бомбой под Псковом, даже перьев не осталось.

И такой ещё факт в довершение картины. Дом, в котором родился Луговской, рухнул в 1942 году во время бомбёжки. Нет, бомба попала не в него. Бомба упала рядом, а дом испугался и умер.

Мастера Маргариты

В конце июля 1941 года Луговские сидели в Москве, в Лаврушинском, тихие и подавленные.

И мать вдруг запела. В полный голос, великолепно, как раньше, в прошлые времена.

Пропела целую арию.

Никто не мог её прервать.

Заворожённые, дети слушали.

Допела и стала сползать с кресла.

Побежали к ней — Володя, стучая своей неуместной тростью о пол, — перенесли на кровать.

— Мама! Мама! Всё в порядке?

После этого она начала умирать и больше ни минуты не была прежней.

Спела: попрощалась с белым светом и с детьми.

1 августа Ольгу Михайловну под руководством сестры Тани отвезли на дачу, где, как Таня со свойственной ей иронией говорила, “по крайней мере, нет седьмого этажа”.

В августе Луговской поссорится с Булгаковой. Сохранилась записка: “Володя, я очень твёрдо говорю тебе, что мы расстаёмся. Я много раз говорила тебе, но поверь, что сейчас — это последний. Я не смогу быть с тобой. После вчерашнего”.

Подробности не ясны, но, быть может, он показался ей невыносимым. Не то чтобы от него пахло валерьянкой, и он хромал и еле дышал — она умела ухаживать за больными, она была настоящая женщина! — а то, что из него извлекли скелет. Ей стало тяжело держать его огромную голову в руках.

Так тоже бывает: ты уже умер, а жизнь ещё продолжается, только одноцветная, потому что у смерти нет красок.

Луговской идёт в разнос. И не он один – у многих литераторов состояние взвинченное, истеричное.

Характерный момент: в Москве 13 сентября в клубе писателей на Поварской стоят пьяные в хлам Катаев и Луговской, они делают вид, что помирились. Или что не ссорились. Или что вообще ничего не было. К ним подходит одна знакомая Луговского, Катаев спрашивает громко:

– Это твоя новая б..?

Потом, тут же, этой “б..”:

– Бегите из Москвы, немцы в Химках!

Во всём этом – в пьянстве с Катаевым, в этих разговорах о немцах и сквернословии – слышится какой-то налёт неразборчивости и душевной захламлённости.

Луговской, раньше пивший галлонами и не хмелевший, стоит, шатаясь, неряшливый, дурной, отупевший.

14 октября Луговским позвонил Фадеев и сказал, что им срочно необходимо эвакуироваться в Ташкент, в эвакуацию.

А матери всё хуже, мать лежит.

А сам Луговской никуда не годен.

Но – удивительное дело! – его самые близкие женщины, матери его дочерей, не бросают его, всё простили ему.

Помогают собраться и провожают Луговских Тамара Груберт, мать Мухи, и Ирина Голубкина, мать Милы. И домработница Поля. И Фадеев, который – в военной Москве, где каждый день бомбёжки! – находит “скорую помощь” и присылает за Ольгой Михайловной.

На Казанском вокзале – кромешный ужас, грязь, давка и ор.

Мать, Ольгу Михайловну, Фадеев вносит в вагон на руках.

В вагоне она, полулёжа, всем кланяется, улыбаясь, – воспитание!

В этом же поезде едет ещё и... Елена Сергеевна Булгакова с сыном.

Булгакову провожает всё тот же Фадеев.

Луговской озирается вокруг, как малахольный старик: одна жена, другая жена, третья – все были его, все уже не его, да у него и сил нет ни на кого, даже на родную мать, которая когда-то была всех дороже.

Но за всем этим всё равно слышится какая-то высокая, удивительная музыка: 41-й год, осень, вокзал, поэт Луговской, Маргарита покойного Мастера, писатель Фадеев... Какие треугольники и квадраты! Какая сокрушительная человеческая геометрия...

В поэме “Первая свеча” Луговской напишет о Фадееве: “Он мужественным был, я полумёртвым”. Потом, когда расхочет быть полумёртвым, исправит: “Он мужественным был, седым, красивым”.

А дальше (мы цитируем первый вариант поэмы): “И коготочком стукала она / В холодное окно. / А я всё видел. / Всё медлили они, передавая / Друг другу знаки горя и разлуки: / Три пальца, а потом четыре пальца, / И накрест пальцы... / И кивок, и поцелуй / Через стекло”.

У окна стоял Михаил Зоценко и смотрел на всё это. Он тоже с ними покатылся в сторону Ташкента.

Мать положили в мягком вагоне, одном на весь состав: наверное, тоже Фадеев подсуетился. Потому что Елена Сергеевна ехала в том же мягком вагоне, и её туда точно посадил он.

В одном купе с Таней Луговской оказался поэт Иосиф Уткин. Он был ранен. Его сопровождала жена и старуха мать.

Хорошая компания для дальней дороги. Как раз, чтобы окончательно сойти с ума.

Недаром одна их попутчица запишет в дневнике: “Луговской стал совсем психопатом”.

Он часами стоял с Зоценко в коридоре и взвинченно обсуждал предвоенные расстрелы маршалов, провалы сталинской политики, чудовищный хаос первых недель войны. В числе прочего Луговскому нужно было объяснить произошедшее с ним, нужны были другие виноватые, а лучше один и самый главный виноватый. И Луговской, напуганный до смерти, теперь уже не боялся: чего бояться после смерти?..

Сестра молилась, чтоб никто не услышал Володю: хоть потрескавшийся,

но всё ещё бас... За стуком колёс – бу-бу-бу, Блюхер, бу-бу-бу, бойня, тугум-ту-тум, Тухачевский...

Зощенко кивал, не спорил.

У Зощенко, как запишет Татьяна, было “мёртвое лицо”. Его гложет мука, схожая с мукой Луговского: Зощенко обвинят в том, что он сбежал из Ленинграда. Он, между прочим, героический офицер Первой мировой, напишет Сталину, что его “силой усадили в самолёт”.

Сталин об этом и сам знал: Зощенко вместе с Анной Ахматовой вывезли из Ленинграда по его личному приказу. Об этом редко говорят, потому что всякий помнит, что *кремлёвский горец* всегда хотел их обоих убить и только не мог найти для этого подходящего повода.

Между тем, Ахматова вспоминает, что их эскортировали на военном самолёте, и, мало того, рядом летели истребители: “...так близко, что я боялась, что они заденут нас крылом”.

Потом, уже в Ташкенте, Ахматовой, по личному звонку Андрея Жданова, выдали дополнительный паёк. Он назвал её “нашим лучшим” поэтом.

В отдельном вагоне того же удивительного поезда едут Эйзенштейн, с которым Луговской недавно работал над “Александром Невским”; приятель юности Луговского, а ныне маститый режиссёр Пудовкин, всенародная звезда Любовь Орлова и другие столпы советского кинематографа – Трауберг, Рошаль, Александров. Ошалевший проводник этого вагона хвалится на станциях: “Всю жизнь ездю, кого только не возил, но чтоб в одном вагоне ехали и “Броненосец “Потёмкин”, и “Юность Максима”, и “Цирк”, и “Весёлые ребята!”

Цирк и весёлые ребята. И психопат, и мёртвое лицо.

Поезд шёл одиннадцать дней.

Развалина

В Ташкенте кого только не окажется: Алексей Николаевич Толстой и Корней Чуковский с дочерью, актриса Фаина Раневская, поэт Сергей Городецкий с семьёй, старый знакомый Всеволод Иванов, старый знакомый Корнелий Зелинский, писатель Лидин, драматург Погодин, Надежда Яковлевна Мандельштам...

Луговские – мать, дочь и сын – с домработницей Полей живут на улице Жуковского, 54. Две комнаты с печкой на первом этаже. Наверху над ними, в балахане (верхняя надстройка узбекского дома) – Елена Сергеевна с тринадцатилетним сыном.

Татьяна Луговская пишет в письмах из Ташкента о городе, где “летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это, скорей, похоже на быстро стынувший столярный клей), где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы...”

“В этом городе, созданном для погибания...” – пишет она.

На крыше дома растёт трава. Посреди комнаты – чёрная печка. Звонку у калитки.

Обладавшая несомненным литературным даром сестра Луговского вспоминает ещё про солнце, “от которого можно прикуривать папиросы, мух величиной с напёрсток и луну, словно взятую из плохого спектакля”, про “Ахматову в веригах” и “булочную на углу, похожу на крысиную нору”.

Дыни размером с бельевую корзину. Жёлтые цветы под окнами.

Луговской пьёт совершенно беспощадным образом.

Семью спасает сестра: художница по образованию, она нанялась в местный дворец пионеров и делает эскизы к спектаклю по пьесе Валентина Катаева.

Луговской не желает где-то работать и хоть что-то писать: до апреля 42-го за полгода не будет ни строки.

У матери обнаружен рак, она кричит часами, не прекращая, днём и ночью.

Когда сын пропьёт все достигаемые семейные запасы, он повадится ходить на Алайский рынок – поначалу там ему подносили знакомые и незнакомые: красивый москвич, орден... Но вскоре перестали.

Не беда – он начнёт собирать милостыню и читать стихи за стакан водки.

“Песню о ветре” не желаете, господин хороший? Или про “поросят в витринах”? Про Перекоп, товарищ? Про басмачей не хотите, гражданочка? Про комиссара Усова или полковника Соколова? Про большевиков пустыни и весны? Про восстание в Пешаваре? Налетайте, узкоглазые.

Как ты там писал, поэт, десять лет назад? “Я солдат – / килограммы костей, крови и мышц...”

Теперь бей себя своими собственными стихами по лицу, жри черновики, занюхивай ими.

Как ты обещал: “Где бы ты ни был, – / к востоку ли, к западу, / К северу, к югу, – / эй, друг, помни! – / Цветом, лучом, / ветром и запахом / В теле твоём заполню я / Пулевую дыру”.

И теперь ни ветра, ни луча – один запах!

Тем не менее, узбеки называют его “урус дервиш”. Они его отчего-то уважают.

Может быть, в их понимании этот “урус” ведёт себя разумно.

А ведёт себя он вот так – цитируем поэму “Алайский рынок”: “Мне, собственно, здесь ничего не нужно, / Мне это место так же ненавистно, / Как всякое другое место в мире, / И даже есть хорошая приятность / От голосов и выкриков базарных, / От беготни и толкотни унылой... / Здесь столько горя, что оно ничтожно, / Здесь столько масла, что оно всеильно. / Молочнолицый, толстобрюхий мальчик / Спокойно умирает на виду. / Идут верблюды с тощими горбами, / Стрекохут белорусские еврейки, / Узбеки разговаривают тихо. / О, сонный разворот ташкентских дней!.. <...> Я пьян с утра, а может быть, и раньше... / Пошли дожди, и очень равнодушно / Сырая глина со стены сползает. / Во мне, как танцовщица, пляшет злоба... <...> Подайте, ради Бога”.

Мимо проводят козу.

Мимо проносят арбуз.

Мимо проходит женщина с корзиной. В корзине лежит маленький ребёнок и орёт. Женщина говорит: “Ну, Андрюша, ну, тише...”

Потный урус дервиш с плывущей улыбкой тянет ко всем проходящим пустию кепку. Ему весело. Ему невыносимо.

Все обсуждают чудовищные сводки: немцы берут город за городом. Ходят слухи о том, что Узбекистан может стать англо-американской колонией. Не погонят ли узбеки русских? – боятся эвакуированные. Один дервиш ничего не боится.

Сестра Таня записывает про брата: “Он не знает никаких полумер в своём эгоизме”.

Никаких. Полумер.

Елена Сергеевна, которую любил и называл Инфантой, живёт по-над самой головой? А ничего.

Всеволод Иванов записывает в дневнике, что у Луговского попутно роман с местной врачихой, “седенькая и картавая” – так определяет её Иванов. “Он явился, выпил две рюмки и заснул, как всегда, сидя. Она увела его к себе”.

Сколько в этих ёмких словах – “он явился” – содержится скепсиса, переходящего в безразличие. “Увела его к себе”, тьфу. Как собака.

Другой раз Иванов описывает, как эвакуированные литераторы сидят в столовой, и “Луговской пришёл якобы с тем, что хочет позвонить по телефону... сел на подоконник. Погодин... не пригласил к столу Луговского, а один пил водку. Луговской, – внутренне, наверное, – бросил “Хамы!”, – и ушёл боком”.

Так ведут себя алкоголики, которых все сторонятся. Он и стал алкоголиком.

Соседи Луговских пишут в дневнике: “Луговской – старая, пьяная развалина. Пьёт, валяется в канавах, про него говорят: “Луговской пошёл в арык”.

... Старая развалина, да? Ха! Ему сорок один год! Полтора года назад он мог стрелять из винтовки в цель с одной вытянутой руки, не пьянеть с литры водки, сесть в седло и всю ночь нестись к чёрту на кулички...

Одна Ахматова на разговоры о рехнувшемся Луговском пожимает царственными плечами: он поэт, он может, как угодно, поэту – простительно.

Луговской заходит к ней и, словно дотаптывая себя, читает Анне Андреевне вслух переводы Пушкина из Горация: “... когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил...” – там дальше идут строки: “Ты помнишь час ужасной битвы, / Когда я, трепетный квирит, / Бежал, нечестно бросив щит, / Творя обеты и молитвы”.

Ахматова слушает без улыбки, без осуждения – спокойно, не унижая гостя ни утешением, ни каким иным словом.

Но таких, как Ахматова, — нет, или почти нет.

Его презирают. Распускают слухи, что он бежал с места боёв. Иные в глаза называют “дезертиром”. Он ничего не отвечает.

Удивительно, но полные нежности, доброжелательные письма Луговскому шлют друзья, оба воевавшие, оба находящиеся на фронтах или у самой кромки войны, под ежедневными бомбёжками, и оттого почему-то гораздо более снисходительные, чем тыловые трепачи и демагоги, — Фадеев и Тихонов. Саша и Коля, ближайшие и родные.

“Милый старик! — пишет Сашка, бывший дальневосточный красноармейский партизан. — Ты должен сделать всё, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть... Для этого ты должен ликвидировать абсолютно всё, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания, — женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые)”.

“Я о тебе много расспрашивал в Москве, — пишет Николай, бывший гусар, — узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну, ничего, старина, пройдёт и это страшное время, не будет же война длиться сто лет — кончится раньше, — и мы с тобой поедem в какую-нибудь солнечную долину и тряхнём кахетинское под развесистой чинарой”.

Литератор Наталья Громова, написавшая несколько замечательных книг о ташкентской эвакуации, очень точно подметила, что Тихонов приезжал из Ленинграда, где жил, в Москву за Сталинской премией, ни словом об этом не обмолвившись в письме. Удивительная, аристократическая тактичность!

Сильные люди всегда снисходительнее. Слухи распускают слабые.

Впрочем, есть у Луговского один ученик, который в 1938 году называл его своим “крёстным отцом”, — Константин Симонов.

Бесстрашный военкор, кочующий с одного участка фронта на другой, демонстрирующий паранормальную храбрость и выдержку, он оказывается в Ташкенте.

Симонов и Лопатин

В повести Константина Симонова “Двадцать дней без войны” (ставшей частью романа “Так называемая личная жизнь”) описан Луговской. Или человек, похожий на Луговского до степени полного смешения.

В действительности, кажется, всё было острее, чем в романе, начатом за год до смерти Луговского, а законченном в 1978 году.

Согласно сюжету “Двадцати дней без войны”, Луговской встречает военкора Лопатина уже на вокзале. На самом деле Симонов сначала отказался встречаться с Луговским. Тот напился пьян и пошёл к Ахматовой жаловаться ей на своего любимого ученика.

Но главный герой симоновского сочинения, строго говоря, не сам Симонов, о чём автор уведомляет в предисловии к своей книге.

Симонов как бы прячется за Лопатина, сделав его старше и старательно описав его непохожим на себя, — более добрым, более грузным и, главное, куда менее амбициозным.

В первой части этого романа, состоящего из трёх повестей, есть забавный момент, когда Лопатин ревнует жену-актрису к молодому и очень успешному драматургу, чья фамилия не называется: он красивый, с усиками, сетует Лопатин, нечего тебе с ним встречаться, влюбишься ещё.

Вот этот с усиками, которого женщинам лучше избегать, и есть молодой Симонов, и Симонов стареющий немного иронизирует над собою, но немного и любит себя.

Однако Лопатину он передоверяет и маршруты своих поездок по фронтам, и свои любовные переживания, — Симонов, к слову, сам был женат на актрисе, — и свои мысли, и всё-таки состоявшуюся встречу с Луговским тоже.

“Всё было неузнаваемо в этом человеке, — таким видит герой повести Симонова своего бывшего друга, эвакуированного в Ташкент поэта по имени Вячеслав. — И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он сейчас, как слепой, тыкался в лицо Лопатину”.

Руки у поэта тоже “не прежние, неуверенно подрагивающие”. И, спустя страницу, опять: “исхудалые, подрагивающие”.

Порой поэт Вячеслав старается говорить с вызовом, но и “в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать”.

Лопатин “помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, чёрной завистью завидовал” этому поэту, который “во время боёв с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива”.

“Что же такое случилось с ним? Как это могло случиться именно с ним?” – думает Лопатин. Вернее, Симонов.

Слово “именно” – ключевое. Подобное происходило тогда сплошь и рядом, десятки поэтов ушли на войну, а несчитанное число других попряталось кто где до самого конца Отечественной. С них никто ничего не спросил. Но как такое могло произойти с Луговским, который полтора десятилетия служил образцом мужества и силы?

Дома поэт “бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем как на вешалке”.

“И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но всё-таки висела”.

Здесь Симонов присочиняет – шашки никакой не было в доме Луговских. Но как деталь – эта шашка ужасно убедительна. От этой шашки на стене становится одновременно и жалче, и горше.

И вот первый авторский вывод, который Симонов сделал не тогда, когда приезжал в Ташкент, а много позже, когда писал книгу: Луговской “не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от неё. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издёвки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всём своём внешнем правдоподобию были несправедливы. Предполагали, что, спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье”.

“Решимость отчаяния <...> ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося перед лицом войны таким слабым человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства”.

Но этот вывод, увы, не последний – и как воин, и как поэт, Симонов обязан идти до конца.

Потому что правда Владимира Луговского была, в конечном итоге, “только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то перед лицом войны он хотя и мучился этим, всё-таки жил неправедной жизнью. И это тоже была правда. И более важная”.

... И ни одно слово здесь не оспоришь, и ничего не попишешь, кроме того, что после войны, когда Симонов попал в опалу, его самого сослали в Ташкент.

Ирония человеческих судеб.

Твердыня, дыня

Симонов написал правду, но важно то, что говорить эту правду имеет право только Симонов или равные ему, каковых не так много.

Иногда кажется, что в случившемся с Владимиром Луговским есть что-то христианское: он словно один принял на себя чью-то трусость, чьё-то бегство, чью-то подлость, чей-то нескрытый позор.

Ни одно серьёзное упоминание его имени не обходится без ташкентской истории, и в этом уже есть что-то, право слово, патологическое.

Самая серьёзная работа, посвящённая ему, – “Владимир Луговской. Книга о поэте” Льва Левина, вышедшая в 1972 году, – и та, за невозможностью говорить в те годы про ташкентские события Великой Отечественной, содержит кислые сетования: вот-де Луговской толком не воевал в гражданскую, нет у него военного опыта Фурманова и Фадеева... Попробовал бы Лев Левин написать то же самое о Маяковском – сразу позабыл бы дорогу во все советские издательства.

Есенин, как и всё его революционное поэтическое окружение, тоже миновал гражданскую, а с Первой мировой вообще дезертировал – у кого-то хватит ума про это всерьёз говорить?

Даже Евгений Евтушенко, и тот отметился в стихах (справедливости ради, уточним – комплиментарных) о Луговском: “Он, казавшийся твердойней, / вдруг рассыпался в момент, / вместо фронта выбрав дыни, / пловом пахнувший Ташкент...”

Дыни-твердыни, чёрт...

И где там пахло пловом? Там два года недоедали все.

“Шестидесятники”, вестимо, всегда выбирали фронт, а не Ташкент. Или не выбирали? Или не было возможности? Ну, так и не надо высказываться на эту тему.

Строго говоря, Луговской ничего не “выбрал”, а был комиссован.

В то время как почти все крупнейшие писатели той эпохи получили свою бронь – и Шолохов, и Катаев, и Леонов, и Зощенко, и Пастернак, демобилизованный из-за перелома ноги ещё в первую мировую. Кто-то из них бывал на фронте наездами, кто-то реально рисковал, кто-то не доезжал вообще, но спросу нет ни с кого. Всеволод Иванов был всего на шесть лет старше Луговского, он находился в Ташкенте и едко издевался над своим спивающимся знакомым. Анатолий Мариенгоф, на четыре года старше Луговского, был в Кирове, в эвакуации: всё по закону. Даниил Хармс вообще объявил, что на фронт его призывать нельзя, а если позовут, он будет стрелять в спину красным командиром. У Хармса огромное количество адвокатов, а на вдруг обвинившего обвинителя Хармса сегодня посмотрят, как на душевно больного человека.

Целый вагон актёров и режиссёров катился в том же составе, что и Луговской, в Ташкент – кто-то сказал им, что они выбрали дыни? Там ведь тоже сидели люди, снимавшие героические картины и игравшие героических персонажей.

Ольга Грудцова в своих воспоминаниях, прямо обращаясь к Луговскому, хорошо формулирует то, что отчасти было сказано Симоновым, но чуть иначе, чуть, что ли, по-женски: “Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, лёгкость, с которой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стен в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся и что это больнее, чем ошибиться в другом! Кто-то из них подумал, как тебя сжигал стыд и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они были довольны собой”.

Потом, когда уже случится перелом в войне, Луговскому не раз предложат: езжай теперь на фронт, мы атакуем, уже можно, уже проще. Никуда не поехал, прошёл до конца свой путь – оплётанный, раздавленный, убогий. Судьбу надо допивать, не оставлять на донышке. Капкан щёлкнул – пусть добывает охотник.

В дневнике он записывает: “Величие унижения, ибо в нём огромное освобождение”.

С какого-то момента Луговской в своём новом качестве стал многим выгоден – струсившим, спрятавшимся, одичавшим в своём ужасе; они скрылись за его спиной, потому что в любую минуту можно сказать: а во-от Луговской, слышали? О, это история...

Такой памятник осыпался! Такой титан над всеми возвышался. Ещё полвершка бы, и до Маяковского дорос. И нет титана.

Случившееся с Луговским имеет почти иррациональное объяснение. Слово бы ему сказали: так долго хотел большой войны – жди с войной большой беды. Не совладал с бедой, тогда я, судьба твоя, тебя опозорю. Не совсем заслуженно или совсем незаслуженно, но что поделать. На то я и судьба. Заодно, кстати, сделаю тебя великим поэтом...

Кто мог бы не прощать его на всех непомерных основаниях – так это его ученики: Борис Лебедев, Леонид Кацнельсон, Василий Резвов. Все трое погибли на Отечественной. И ещё его Этьенетта. Но от их имени говорить кому-то – много чести.

Как отрезало

Ольга Михайловна Луговская, мать поэта, умерла 7 апреля 1942 года.

Ходили, добывались места на кладбище, Луговской всё распахивал пальто, чтоб ответственные лица видели его орден.

9-го похоронили. Небо было ясным. Дощатый жёлтый гроб. Тополь в ногах. И его стихи об этом.

“Ты – плоть моя. / Ты мне передала / Твою глухую свадебную полночь / С моим отцом. / Зерно твоей любви, / Упал я в ночь. / И вот перед тобой, / Победа мёртвая, сидит на жалком стуле / Твоё создание, грустный человек, / В дверях открытых материнской смерти. / В том ящике, что я сейчас задвинул, / Лежат тобой прочитанные письма. / Спи, мать людей, за окнами темнеет, / И дождик азиатский бьёт беспечно / Ладощками в жужжащее окно...”

Сестра Татьяна расскажет после всего: “Володя запил и пил ужасно, пока мама не умерла, а потом как отрезало”.

Луговской начинает работать. Смерть отца сделала его поэтом. Смерть матери вернула ему силу. Великое унижение даровало ему крылья. В Ташкенте Владимир Луговской начнёт писать – и вчерне напишет одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии. Позже эта книга будет названа “Середина века”.

Весной, когда зацвели деревья, Ахматова однажды видит, как Луговской вскапывает землю во дворе.

– Если хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского! – чеканит Анна Андреевна.

Луговской, правда, перекопал двор вместе с кирпичными дорожками, которые пришлось потом перестилать, но это ничего.

Он снова мирится и сходится с Булгаковой. Живут одной семьёй.

Елена Сергеевна даёт ему рукопись “Мастера и Маргариты”, которая у неё с собой, – Луговской становится одним из первых читателей этого романа.

Она набирает его поэмы.

Луговскому поступает новое предложение от Эйзенштейна: писать стихи для его новой картины “Иван Грозный” – съёмки проходят в Алма-Ате.

Понемногу появляются деньги. Понемногу возвращаются цвета в жизнь.

Какое-то время его стихи в Ташкенте не хотели передавать по местному радио: а вдруг дезертир, вроде идут такие разговоры... Это в те дни, когда работать на победу позволили всем, кого били-колотили перед войной. В Кирове Анатолий Мариенгоф, давно и непререкаемо признанный ненужным поэтом, и тот выступает на радио и выпускает сразу несколько книг стихов.

По поводу Луговского делают из Ташкента звонок в Пур, там наводят справки и дают твёрдый ответ: “Владимир Луговской вёл себя на фронте достойно, был контужен и комиссован. Никаких причин не передавать стихи нет”.

В начале лета Луговской в Алма-Ате.

“Одновременно с Луговским приехало несколько киносценаристов, – вспоминает Ольга Грудцова, – Они собрались в сценарном отделе. Сценаристы начали с жалоб: их поселили в непригодном помещении, матрацы жёсткие, столовая плохая и т. д. Они злились и брюзжали. А рядом стоял, небрежно опираясь на палку, Луговской и молчал. Когда же начальник сценарного отдела спросил, есть ли у него какие-либо требования, Владимир Александрович ответил, что всем доволен и никаких претензий у него нет...”

Луговской долго ещё пробыл в Алма-Ате. Он жил в гостинице, отданной под общежитие работников искусств, в крохотной комнате...

У него болели ноги. Идти от общежития до киностудии и дома Эйзенштейна было далеко. Стояла томительная жара. Но Луговской приходил ежедневно. Они работали с Эйзенштейном...

Мы жили без дров, полуголодные, плохо одетые. Люди устали, опустились: грязные воротнички, немые лица... Луговской приходил на студию тщательно выбритый, с мастерски, по-особенному завязанным галстуком, всегда элегантный, хоть и в обтрёпанных брюках и рваных туфлях”.

О том же периоде вспоминает Мария Белкина: “Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представлять его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло всё внешнее, наигрыш, актёрство, – он ведь и всегда немного актёрствовал, позировал, и вдруг нет ничего”.

Про то, что Луговской изменился, пишет летом 42-го года и Елена Сергеевна из Ташкента, куда Луговской вернулся после работы над фильмом.

“Володя – молодец, с ним хорошо и легко”.

А совсем недавно с ним было плохо и невыносимо.

23 июля 1942 года в Ташкент приехали Ирина Голубкина с Милочкой – до тех пор они находились в Сталинабаде.

У Милы складываются самые добрые отношения с Булгаковой.

Потом вспомнит: “Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют”.

Булгакова пишет знакомым письма об их житье в стиле “и смех, и грех”:
“Москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чёртову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, москиты, о которых все упоминали мимоходом, искусали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200–300 открытых ран, так как я не выношу, когда у меня появляется какое-то открытое пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение...”

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему говорит, что милей мово нет на свете никого.

Затем – жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов – уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжёт зад, приходится подкладывать подушечку...

Двор значительно опустел, уехали... Леонидовы, Уткин (слава Богу)...

Пришёл Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги “Жизнь”. Боюсь взглянуть, но, кажется, это будет замечательная вещь”.

За несколько месяцев Луговской напишет более двадцати поэм цикла.

Читал их Ахматовой. Она молча слушала, поставив стул в тень. Просила приносить ей каждую новую главу – сразу поняла, что это такое, какая сила в новом Луговском.

Несколько раз они читали вдвоём какому-то малому количеству гостей, по очереди. Луговской уже написал “Белькомб” – о своей французской, убитой любви.

Редкие слушатели вспоминают, что ощущения были невозможные: Ахматова, лучшие стихи Луговского – шок.

Читал Всеволоду Иванову, потом спорили о форме поэмы.

Иванов записывает: “Луговской совершенно серьёзно – он был трезв, – сказал:

– Она написана в форме бреда”.

В 1942 году Луговской начинает работу над едва ли не лучшей поэмой книги – “Сказка о сне”, посвященной Булгаковой: “... Неужто я / Сквозь сорок лет прошёл, чтобы под утро, / В тот час, когда кончается планета, / Увидеть эту женщину...”

Ей же в 43-м посвящено стихотворение “Непрядва”: “И на серебряном песке / Следы подков и пена. / И кочет кычет вдалеке, / Жена моя Елена!”

А Елене Сергеевне вдруг начинает сниться Михаил Афанасьевич Булгаков, её единственный муж на земле и на небе.

– Как он? – спрашивает Булгаков про Луговского во сне.

– Хороший любовник, – отвечает она, пожимая плечами.

Булгаков не ревнует. Он же знает, что жена она только ему.

Елена Сергеевна выезжает из Ташкента 1 июня 1943 года – её вызвал МХАТ. Луговской ещё не понимает, что эта женщина, которую он видел своей женой, уже не вернётся назад.

В комнату Булгаковой заехала Ахматова – теперь они соседи с Луговским и видятся каждый день.

Что-то понимая, Луговской пишет в Москву Елене Сергеевне, просит, наконец, оторваться от Михаила Булгакова, перестать быть его вдовой и жить с ним, с живым Луговским.

Но не может быть два Мастера у одной женщины. Мастер может быть только один.

В Москве Елена Сергеевна твёрдо решает: она только вдова, и всё. И больше ничего не надо.

И оказывается права.

Змеинная кожа

43-й принёс великую надежду на свободу Родины.

В неоконченной поэме “Ташкент” есть это ощущение: “И далеко по улицам Ташкента / Я слышал голос: “Важные известия!” / Сигнал Москвы и мерный шум эфира. / Стояли толпы возле рупоров <...> Все ждали, глядя на луну, / Бросая в нетерпенье самокрутки, / Известий из Москвы, но медлил диктор. / – Полтава... – говорили. – Нет, Чернигов. / Иль, может, Витебск? Или Мелитополь? – / Десятки называя городов. / Проникнутые судорожным счастьем, / Все спорили и ссорились, как дети...”

Луговские выехали в Москву 1 декабря 1943 года. Их провожала целая толпа – первые ташкентские полгода походов поэта “в арык” подзабылись, Луговского вновь полюбили многие.

И Ахматова тоже провожала.

Ещё забавная деталь: Борис Пастернак в этом году некоторое время жил в московской квартире Луговского – у него не было другого жилья. Так что Ахматова провожает, Пастернак встречает – такой кругооборот.

На вокзале Луговской был взволнован, всё окликал, вдруг напугавшись: “Татьяна! Где моя поэма?”

Ответ был: “Она у тебя в руках!”

“Середина века” доказывала, в первую очередь, ему самому, что он не лишний в этой жизни, что он был не случаен. Потерять такое ощущение вместе с поэмой невыносимо. Он уже один раз потерял себя.

Вскоре Луговской будет читать “Середину века” в доме Пастернака (гостеприимство – за гостеприимство) самым близким товарищам: Антокольскому, Паустовскому, Тихонову, Фадееву, Чиковани... В поэме, между прочим, есть замечательная глава про 37-й год – “Каблуки” – жёсткая, правдивая; дерзкие куски на ту же тему есть в поэме “Москва” – такое будут сочинять после разоблачения культа личности, и то замирая от собственной смелости, но как раз тогда Луговской ничего подобного писать не станет.

Друзья выслушают и скажут, что это прекрасно и пронзительно, но опубликовать это, признают друзья, невозможно.

Луговской отмахнётся: главное, что поэма есть.

А пока он входит в свой дом. Тут жила мама. Сюда приходили его ученики и обожали его, а он обожал их. Тут всё было по-другому.

Дома разор.

Часть ценных вещей из квартиры пропала: жильцы, бывшие тут до Пастернака, устроили небольшой пожар, чтобы скрыть своё воровство. Но коллекция сабель почти вся сохранилась. Унесли какие-то самые красивые на вид клинки, на деле реальной ценности не представляющие.

Зато сохранилась куртка из змеиной кожи.

О, с курткой была история в своё время, ещё до войны. Настоящий анекдот! Он имел хождение в литературной среде и обрастал всё новыми подробностями.

В общем, на дворе стояло 30 июня примерно 1935 года.

Симонов, который был тот ещё, не хуже Луговского, модник, а иной раз и позёр, увидел в комиссионке удивительную, всю на молниях, куртку из змеиной кожи.

Денег у него не хватало, и он поделился тайной с другим учеником Луговского – Михаилом Матусовским: если есть триста целковых – иди посмотри, а то вещь уйдёт в чужие руки, обидно будет.

Матусовский побежал в Столешников переулок, где была комиссионка, и ахнул. Это не куртка была, а настоящее животное, кобра, питон, дракон.

Чтоб долго не раздумывать, отсчитал положенные рубли и, схватив по купку подмышку, побежал домой, ошавевший от такой красоты, – в Москве эта куртка наверняка единственная, да что там в Москве – во всём СССР: здесь давно уже драконы не водились.

Впопыхах не обратил внимание, что куртка в комиссионке висела на подозрительном отдалении от всех остальных вещей, и от продавцов тоже.

Вернулся в свою коммуналочку и тут же давай примерять.

И сам уже чувствует: что-то не то, куртка будто была сделана из сорока умерших от старости и болезни змей – она издавала чудовищный, глаза выдающий запах.

И к тому же не то что шуршала — в этом была бы своя экзотическая прелесть, — а гремела.

Привлечённые необычным шумом и зловредным змеиным смрадом, вышли из своих комнат соседи Матусовского.

Оценив, а также обнюхав обновку, они чётко изложили своё мнение: вы, конечно, Миша, поэт, это нас обязывает к уважению, но выбор у вас прост: или вы остаётесь здесь жить, но без куртки — и поселите её отдельно, либо вы живите с ней вместе в любви и взаимопонимании, но без нас и под другой крышей. Проще говоря: вымётывайтесь отсюда немедленно со своей подколодной курткой.

Матусовский подумал и решил сделать подарок Симонову. Костя, сказал ему, ты же брат мне. Ты наверняка будешь лучшим из нас. Ты будешь такой же, как Луговской. Ну, почти такой же, если немного вырастешь и раздашь в плечах. Прими от меня эту куртку в подарок. А деньги отдашь с первой Сталинской премии.

Симонов ахнул: спасибо, родной. Спасибо, не обижу тебя отказом.

Забрал куртку, и тоже, естественно, бросился мерить. В комиссионке он её только разглядывал, прикоснуться не решаясь.

Куртка ему оказалась велика на несколько размеров.

И этот несносный запах.

И что она так скрежещет? Ночью весь подъезд будет просыпаться от этого скрежета.

Недолго думая, Симонов звонит другому своему учителю — Павлу Антокольскому. Учитель, говорит, у меня есть одна вещь, которую я не заслужил. Я пока ещё молод. Я ещё не имею права. Давайте я вам покажу то, что должны носить только вы.

Антокольский заинтересовался: приносите, говорит.

На беду, Антокольский оказался ещё уже в плечах, чем Симонов и просто исчез внутри дракона. Как будто его уже проглотили, и только любопытствующие глаза лукаво поглядывают из смрадной пасти хладнокровного гада.

При этом Антокольскому вещь понравилось. Он считал, что она ему к лицу, и ему всего лишь нужно, ну, чуточку подрасти и расправиться. И, что удивительно, запах его не смущал. И скрежет тоже. Но никто из близких не разделял его чувств к змеиной куртке, и даже напротив.

Антокольский в тоске играл молнией: джик-джжжжжик. Джик-джжжжжик.

Да, понимал Антокольский, видимо, не судьба. Я не смогу, думал Антокольский, вырасти настолько. Как поэт — смогу, и даже больше, а как человек — едва ли.

И тут, никто уже не помнил, кому из хозяев куртки пришла в голову идея простая и очевидная: они же все — все! — приглашены на день рождения к Луговскому. Первого июля!

Это всё решает! Надо разбить цену на трёх человек — и сделать королевский подарок Владимиру свет Александровичу. Ему-то она точно подойдёт.

И ему она точно подошла.

Луговской — огромный, ещё молодой, красивый своей сногшибательной красотой, выглядел в куртке, как полубог, как предводитель полубогов, как покоритель рептилий.

Когда он выходил на улицу в своей куртке — женщины падали в обморок, но так, чтобы Луговской успел их, скрежеща, поймать. Милиционер забывал, как управлять движением на перекрёстке. Собаки не решались лаять и только открывали, как рыбы, немые пасти. Движение транспорта останавливалось. Пассажиры трамвая прикивали к стеклу, и трамвай рисковал упасть на бок. Велосипедистки въезжали непосредственно в столбы или в ошарашенного регулировщика.

Если над Луговским пролетала птица, то её случайный след на куртке не делал куртку хуже, а просто был незаметен, и даже запах куртки не изменялся.

Куртку знала едва ли не вся Москва. Она могла соперничать в популярности с Луговским, но они дружили и какое-то время не мыслились друг без друга.

Было дело... Жизнь была такая смешная. Странно, что она совсем исчезла.

Луговской хранил куртку в специальном водонепроницаемом мешке.

...Раскрыл шкаф, достал мешок — да, на месте.

Распечатал – и пахнет всё так же. Как труп из прошлого.

Представить обстоятельства, в которых он надел бы её сегодня, было невозможно. Куда ему, старику...

Но теперь история с курткой неожиданно срифмовалась с другим случаем – ещё более давним.

Речь об этом случае шла в поэме 32-го года “Сапоги”, которую Луговской читал на встрече со Сталиным.

Дело было в гражданскую. Луговской служил в полевом контроле. Однажды его, – по сути, рядового разведчика – отправили посмотреть, нет ли в ближайшей деревне белых. Дали напарника. Тип, если верить поэме, оказался странный, по фамилии Белов.

“Вдруг я заметил, что Белов дрожит. / “Что с вами?” / “Очень плохо!” / “Почему?” / “Нервишки заиграли!” / Он потрогал / Вспотевший лоб и зашагал вперёд <...> “Какая прелесть”, – бормотал Белов, / Качая головой и спотыкаясь. / Мы углубились в рощу. / Он опять / остановился. / “Не могу!” / “Чего не можете?” / “Я заболел!” / “Пустое, подтянитесь!” / “Ей-богу, не могу. Зачем всё это?” / “Что?” / “Мерзость, гибель, смерть!” / “Да вы рехнулись?!” / “Мне нужно главное почувствовать во всём. / Зачем берёзы, если я подохну? / А вдруг конец? Я одинок, поймите!” <...> Тут я не выдержал: / “Да вы в разведке! / Вы что, толстовец?” / “Слушайте, товарищ, / Мы говорим на разных языках”.

Перечитываешь поэму и думаешь: с кем разговаривал молодой Луговской? С кем же он разговаривал?

Герои поэмы, Луговской и его напарник, с приключениями дошли до усадьбы и увидели там растерзанного красноармейца с вырезанной на груди звездой.

Пока осматривали пустой дом, непрерывно истеривший до той поры Белов нашёл где-то сапоги и тут же спрятал их под телогрейку.

На обратном пути “...нечистый дух взял за язык Белова. / Он говорил с огромным облегчением / О личности, о счастье, о свободе, / О бесполезности людских страданий, / О героизме и борьбе со смертью, / О прелести закатов и берёз, / О слове “я” во всём его объёме, / О голом человеке Диогене / Или Гогене – я не разобрал...”

В общем, обо всём том, о чём сам Луговской будет впоследствии сочинять стихи.

В поэме Луговской, взбешённый, отбирает у этого демагога Белова сапоги – “коричневато-огненную пару”, – того же, как ни странно, цвета, что и куртка, – и распарывает их из огромного презрения к слабости и никчёмности человеческой.

Намасленные, пахнущие, неестественного цвета сапоги...

...И что теперь Луговскому оставалось сделать с курткой?

Если б это было кино, то такой ход показался бы слишком игровым, слишком придуманным: юный разведчик Луговской отнимает сапоги у труса, мародёра и толстовца, кромсает и режет их на части, пишет об этом, спустя почти десять лет поэму, читает её Сталину... потом влетает в капкан и выясняется, что эту красивую вещь он отнимал у самого себя, спорил сам с собой, издевался над самим собою и – ходил в разведку со своим зеркальным отражением.

Жизнь, если в неё долго всматриваться, куда более щедра, чем любая выдумка.

И как поступить Луговскому: опять, что ли, резать всё это на части? Коричневато-огненную кожу эту?

Пошлость какая.

Втройне противно ещё и потому, что тогда, у Сталина, слушавший поэму Климент Ворошилов сказал спокойно: “Зря герой сапоги порезал. Редкая вещь была в гражданскую – сапоги. Надо было мародёра наказать, а сапоги оставить... Пригодились бы”.

Как вспомнишь обо всём этом – тошнит от самого себя.

Не-пре-о-до-ли-мой то-шно-той.

Сестра Таня позвала чай пить.

Куртку убрал в мешок поскорей.

После выкинул. Чтобы не пахло гадом в доме.

Женщины поэта

Татьяна Луговская как-то услышала, что брат посреди ночи громко хохочет за стеной. Пошла посмотреть, чего он так развеселился.

Оказывается, вот что.

В эвакуации, наряду с Еленой Сергеевной и тем врачом, о которой вспоминал Всеволод Иванов (сестра Татьяна тоже её помнит, фамилия той любовницы была Беляева) у Луговского была связь с одной экзотической женщиной, полуяванкой – эвакуированные в шутку называли её “полуяванкой”.

Луговской вернулся домой, стал разбирать свои бумаги и нашёл любовные письма десятилетней давности от женщины, которую звали так же, как полуяванку. И вдруг его осенило: это она и была. За десять лет, имея связи со многими и многими женщинами, он её совершенно позабыл, а в ташкентском пьяном полубреду не узнал: познакомился с ней во второй раз, а она ничего не сказала.

“Володю женщины обожали”, – спокойно сообщала сестра Таня, вспоминая брата.

Во время войны у Луговского появится новая женщина, и новая – уже до самого конца – любовь – Елена Леонидовна Быкова, впрочем, её все называли Майя, оттого что она родилась 14 мая, или оттого, что это весеннее имя очень подходило ей.

(Или, быть может, Луговскому не хотелось, чтобы после Елены Булгаковой снова была Елена?)

Луговской и Майя-Елена поженятся, и мы даже не станем пытаться считать, какой это был по счёту брак Луговского.

Быкова была не просто хороша собой (“крупная величавая красавица” – так охарактеризует её Евгений Евтушенко), но и необычайно одарена. По профессии геохимик, после войны она станет кандидатом наук, чем Луговской будет откровенно гордиться и всем хвастаться. Под именем “Елена Быкова” будет публиковать рассказы, под именем “Майя Луговская” – стихи, под обоими именами издавать составленные ею сборники воспоминаний о поэтах.

Кроме того, она успешно занималась живописью и, наконец, была хозяйкой гостеприимного дома, где и при жизни Луговского, и после его ухода пребывали самые видные люди искусства тех лет – несчётное количество поэтов, скульпторов, художников, музыкантов.

У Евтушенко, по его собственному признанию, на письменном столе лет двадцать будут лежать под стеклом стихи Майи Луговской: “Мы умирали вместе на кресте, / Мы ничего не знали о Христе. / Он был такой же смертный, как и мы. / Страдал, как мы, страшился смертной тьмы. / Когда последний крик рванулся в твердь, / Всё пресеклось и наступила смерть. / Кто выдумать посмел, что он воскрес, / Не понимает, что такое крест”.

Кажется, в этих строчках есть отсвет понимания и того, почему она любила Луговского невзирая на недавно случившееся с ним и, по сути, обрушившее его телесное и душевное здоровье (но не дар).

Луговской время от времени не был верен и ей тоже, как не был верен предыдущим жёнам, и Елене Булгаковой, и всем, с кем был.

Кого он любил из них истинно? – впору задаться вопросом.

Страстно любил первую жену, Тамару Груберт, которой посвящён первый его сборник “Мускул”.

Ей он будет писать из своих поездок: “Я скажу самое большое, что могу сказать и не говорю, – ты моя Родина со всеми березками и елями, со всей боевой и лесной песней. Ласковая зверушка, белая девочка, которую я так сладко носил на руках в моих снах и наяву, неизлечимая боль моя – вот я весь, занесённый чёрт знает куда, совершенно одинокий, терзаемый от всего. Вот и ты. Мы тянемся друг к другу, мы сливаемся вместе. Выходит большое круглое детское солнце, стоят покосившиеся дома, идёт дым штопором из каждой трубы. Бегут лошади на восьми ногах, выше домов, и растут невиданные ёлки – из чёрточек. Что это? Это будущее...”

Страстно любил свою третью жену, Сусанну Чернову, которой посвящено множество небывалых лирических стихов.

Например, такое, удивительно простое и волшебное: “Ты давно уж разлюбила. / Я недавно разлюбил. / Все мы ходим, дорогая, / Возле маленьких могил... / И во всей осенней шири / Ледяная синь легла, / И во всём огромном мире / Нет такой, / как ты была”.

“Нет ничего выше любви поэта”, – запишет в дневнике Татьяна Луговская уже после смерти брата.

Написать к этому в качестве незамысловатого примечания – и нет ничего непостоянней и болезненней, чем любовь поэта, – слишком просто, да и глупо.

Он, конечно же, любил Елену Булгакову, и она полюбила бы его, когда бы не Булгаков, когда бы он не умер рядом с нею, а она в это время держала его ладонь в своих руках, и когда бы он не вернулся потом за своей Маргаритой, а она уже не захотела и не смогла послушаться.

А покой и всепрощение принесла ему Майя, умевшая ладить со всеми жёнами и даже подругами Луговского. И с родными его – тоже.

Дочка – Мила Голубкина – вспоминает, как пришла вскоре после войны на выступление отца в зале имени Чайковского. Она, долгое время проводившая в эвакуации, не видела его несколько лет, хотя он помогал им, выбивал какие-то ордера. Теперь отец сидел на сцене среди остальных поэтов, очень постаревший, но по-прежнему величественный.

Послала ему записку: “Папа, если хочешь увидеть меня, я здесь, буду ждать тебя после концерта на улице, возле третьей колонны”.

Отец стал искать глазами кого-то в зале – почему-то на первых рядах. Только потом дочь догадалась, что там была его Майя-Елена.

“Как я досидела до окончания вечера, не помню, – рассказывает Людмила Голубкина. – Ждать пришлось довольно долго. Наконец, появился отец – большой, вальяжный, с тростью в руке, а с ним довольно крупная прелестная женщина, нарядно и необычно одетая.

Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде: “Как ты выросла!” Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день.

С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не было...

Зато с Еленой Леонидовной я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в неё. Ей это нравилось. Своих детей у неё не было...”

Через Майю-Елену, годы спустя, отец наконец-то близко сойдётся с дочерью, и они подружатся. Без последней жены этого, конечно же, не случилось бы.

Дочь ему простила всё – и одиночество, и полуголодное детство. И брошенную мать, которая, как ни удивительно, будет видаться и встречаться с Луговским.

Женщины были к нему добрее многих мужчин.

В повести Симонова тот герой, который списан с Луговского, вдруг говорит однажды: “Иногда годами думаем о женщинах, что они не такие, какие нам были нужны, а потом вдруг возьмёшь и подумаешь: а может, мы не такие, какие им были нужны? Всё-таки каждая невышедшая жизнь – дело обоюдное”.

Луговской зачастую вёл себя беспутно и безответственно, но одновременно, помимо того, что он был известен, талантлив и красив, он, и это для женщин, кажется, очень важно, был добр, мягок, не пытался обвинить других в своих слабостях, брал вину на себя и, насколько мог, пытался её исправлять.

Деточки выросли

Один за другим, овеванные славой, в медалях и орденах, получившие беспримерный опыт, начали возвращаться его ученики.

“...иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились. А если и учились, не желают помнить об этом”, – жалуется в повести Симонова двойник Луговского.

Симонов по-писательски как бы сдвинул ситуацию вперёд: едва ли в 1942 году у Луговского было понимание, как к нему относятся его ученики. Оно пришло позже, когда его “деточки” демобилизовались.

Некоторые не заходили к нему вообще. Другие заглянули, чтоб убедить-ся в том, что слухи о “дяде Володе” были верными.

Поэт Сергей Смирнов приехал в пилотке и в военной форме. Был грустно удивлён: у Луговского всё в пыли, а клинки ещё висят, ещё не снял, хотя они кажутся уже такими неуместными, а на окнах по-прежнему шторы затемнены, хотя нет никакой войны в помине.

Выпил чашку чая и поспешил скорей прочь.

Луговской, по-стариковски бодрясь, крикнул ему вслед, выглядывая чуть подрагивающей головой в подъезд:

– Поддерживаем непрерывную связь!

– Есть! – ответил Смирнов и пропал: год-другой-третий не появлялся.

Не было никакого желания возвращаться в пыльный дом.

Жизнь заставила его вернуться спустя годы: у Смирнова стали тормозить выход книги военной лирики. Терзали, мурыжили, душу вывернули; наконец, не сдержался, позвонил по тому телефону, по которому не звонил давным-давно.

– Пробей, дядя Володя, выход книжки?

Дядя Володя взял и пробил: он ещё не научился пользоваться своим басом и принимать угрожающий вид. Можно здесь сказать, что он чувствовал вину перед молодыми фронтовиками, но не обязательно: ученикам своим и просто начинающим поэтам он помогал всегда и будет помогать до самой смерти.

Но те, кто учились у него до войны, – всё-таки особая история.

Избавиться от мощнейшего очарования Луговского они так и не смогли, хотя пытались.

Кто-то из них ещё при жизни Луговского начал писать о нём какие-то очерковые заметки, где неизбежно звучит одна и та же нотка: ну да, дядя Володя, ну да, учитель... но всё-таки.

Стоят как-то Луговской и его ученик Лев Озеров на Балтике. Луговской вдруг ловит взгляд – тот самый, испытующий, ученический – и вдруг резко спрашивает:

– Что вы смотрите на меня, как паровоз на Анну Каренину?

На какое-то время многим показалось, что он стал меньше всех своих учеников.

Каждый из вернувшихся с фронта мог подумать: теперь я больше.

Они и были больше: как мужчины, как солдаты.

А как поэты, продолжим мы, нет.

Как поэты, они, состоявшись в полной мере, всё равно остались ниже званием и рангом: и Долматовский, и Матусовский, и Наровчатов, и Луконин, и Сергеев, и Платон Воронько, и быть может, даже Симонов – человек огромный, сильный и породистый.

Русская поэзия ценит человека вместе со всем: с биографией, со страстями, с жёнами, с победами и поражениями – русскую поэзию всё это кормит.

Но всё-таки самый конечный счёт идёт не по опыту, пусть даже и великому, пусть даже и военному, пусть даже и тюремному. Поэзию измеряют, в первую очередь, поэзией.

Как поэт – в небывалых своих удачах – Луговской огромен, выше жизни, дальше смерти, наэлектризованный эпохой, неоспоримый, не вмещающийся в свою поломанную биографию.

Тогда никто из вернувшихся и подумать об этом не мог, – Луговской становился тише, седел, – они входили в масть, поколение победителей.

Воспоминания учеников о Луговском содержат одну забавную общую черту: там подробно говорится о том, каким был дядя Володя до войны, а потом вдруг – раз! – и обрыв. Хорошо, если найдётся десяток слов про “Середину века”. Но в целом остаётся ощущение, что в 41-м году Луговской сошёл на нет, растворился.

Луговской говорил Наровчатову: “А слышал ты о прилагательном “часовой”? Временный, недолгий, а ещё – почётный, уважаемый. Вообще-то странно: значения противоположные. Впрочем, в уважаемости есть, конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет”.

Он был – часовой. В трёх смыслах: ещё и существительное.

В какой-то момент, уже сам прожив полвека, Симонов понял, что ученики дали Луговскому меньше, чем он им.

В повести “Двадцать дней без войны” одна строгая женщина спрашивает главного героя про двойника Луговского.

– Как вы к нему относитесь?

– Я люблю его, – отвечает главный герой.

– Любите или любили? – уточняет женщина.

– Люблю, – говорит герой.

Верней, говорит Симонов.

Только говорит он это не в 1942 году, когда заезжал в Ташкент, – он такое не мог произнести тогда, был взбешён, еле сдерживался, – а много позже, когда писал эту книгу, может, в 58-м или в 68-м, или в 78-м. Он долго над ней работал, было время подумать.

Было время осознать, что такое Луговской.

Карагач

Пятидесятилетие Луговского государственным праздником не стало. В газетах не вспомнили, на радио промолчали.

Но всё-таки пришёл Фадеев, старый друг, которому оставалось два года до выстрела в лоб, пришли несколько человек, по пальцам пересчитать, из старых учеников, а кто-то – из совсем новых.

И хорошо посидели, было весело, – может быть, это был последний праздник призыва 20-х годов.

Луговской вновь начал вести семинар в Литинституте.

Понемногу начали подрастать будущие “шестидесятники”: Евтушенко, Роберт Рождественский, десятки других, рангом поменьше; все они крутились возле Луговского: как же, он ведь из тех громоподобных времён, он стоял рядом с Маяковским, вровень с Багрицким.

Если в 1938 году “крестным отцом” его называл Симонов, то в 55-м – вышеназванный Роберт.

“Шестидесятники” учились у него вещам, наверное, не самым важным в случае Луговского: патетической жестикюляции, а ещё лёгкой на слух, но сложной по форме рифме, а ещё некоторой, свойственной Луговскому рисовке, его нарочитости и артистичности, – в общем, всему тому, что принесёт ему известность и чего совсем нет в его лучших стихах и поэмах “Середины века”.

С Евтушенко Луговской, несмотря на разницу в возрасте, был даже дружен.

Евтушенко часто бывал у него дома.

У них, признаемся, было что-то общее – в манере поведения, в самоуверенной повадке, в размахе. В нахрапистости, а порой и в готовности отступить, если отступление того стоит. В почти религиозном отношении к поэзии – и влюблённости в чужие стихи. В литературном вкусе, вполне отменном в обоих случаях. Евгений Александрович позже хорошо подметил, что Луговской идеально выразил суть постмодернизма в двух строчках: “Улитки шли холодным скользким строем. / Улитки шли, похабно выгибаясь”.

Но оттенок снисхождения в отношении к Луговскому постепенно проявился и у “шестидесятников”, которые перешёптывались за кружкой пива: а во время войны-то, слышал?

Каждый “шестидесятник” знал про себя, что он-то во время войны бы – во весь рост. . .

С какого-то момента Луговской – с его верностью Октябрю и “левым” идеалам, нисколько не поколебавшейся даже после хрущёвского доклада, стал восприниматься как лёгкий анахронизм.

Один за другим возникали куда более важные герои: ладно бы честные солдаты Второй мировой – нет! – разнообразные фрондёры, кипучие критики советского режима. Новое поколение странным образом посчитало, что бороться с “кровавой утопией” было куда опасней и страшнее, чем воевать с фашизмом.

Со временем, надо признать, не только реальные, великие сидельцы и страдальцы эпохи, но, к сожалению, и разнообразная мелкокалиберная “диссида” выдавали из общественного восприятия поколение бойцов и победителей самой страшной мировой войны – повестку дня будут определять уже не они, а вот эти самые “похабные улитки” и к ним примкнувшие.

Луговской успел кольнуть Евтушенко, досадливо бросив про него: “подвергает всё и вся критическому подозрению”, а всю их компанию охарактеризовал как “новых нигилистов”. Можно видеть в этом старческое брюзжание, а можно – замечательную прозорливость.

Прожил бы ещё Луговской – был бы неоднократно удивлён ловкостью своих послевоенных учеников и знакомцев.

В 1960 году всё тот же Евтушенко написал стихи на смерть Бориса Пастернака. Опубликовать их с посвящением Пастернаку немедленной возможности не было, поэтому Евгений Александрович извернулся и опубликовал их с посвящением уже покойному на тот момент Луговскому. Устно объяснив самым близким, что Луговской тут ни при чём, стихи для Бориса Леонидовича.

Вознесенский, в свою очередь, стихи, посвящённые Пастернаку, назвал “Похороны Толстого”.

Любопытно, как бы сам Пастернак на такое жонглирование отреагировал.

Это как если бы Лермонтов на всякий случай “Смерть поэта” посвятил Третьяковскому – от греха подальше. Или назвал “Похороны Ломоносова”. А что?

Едва ли есть что-то более простодушное в русской литературе, чем “шестидесятники”. Эти brave ребята ещё смели судить людей, прошедших сквозь 30-е.

В тридцатые поэтов забивали, как гвозди, – иногда в дерево, иногда в железо. В “шестидесятые” тоже забивали – хорошо, если в дерево, но чаще – в сливки. Процесс вроде бы один и тот же – ощущения разные.

Потом, когда будет можно, посвящение Луговскому Евтушенко снимет и поставит посвящение Пастернаку. Луговскому, конечно же, тоже напишет отдельное стихотворение – а иначе как бы он остался без посвящения Евтушенко?

Разрешение на использование имени Луговского в стихах на смерть Пастернака Евгений Александрович испросил у Майи-Елены, та ответила правду: “Володя бы не обиделся”.

Он действительно бы не обиделся – доброту Луговского помнили не только его женщины, но даже коллеги по перу.

Павел Нилин вспоминал, как Луговскому рассказали, что “...один поэт резко критиковал его стихи в клубе писателей. Луговской взволновался. Чтобы успокоить его, собеседники заметили, что этот поэт-критик в сущности бездарный и глупый человек.

– Нет, нет! – тотчас же яростно стал защищать его Луговской. – Зачем же говорить ерунду? Он совсем не бездарный...

И тут же на память прочитал отличные стихи своего “противника”.

– Пусть он меня ругает, если ему хочется, – сказал Луговской. – Но он совсем не бездарный. Было бы глупо и несправедливо считать его бездарным”.

Редкое качество для литератора. Луговской давно перестал с кем-либо себя соизмерять, – наверное, он по другим ориентирам себя определял.

Когда был пьян, любил разговаривать с деревьями.

Выбирал себе собеседника по росту. Самый излюбленный собеседник был карагач у ворот. Дерево, расщепленное надвое молнией. Подходил, что-то рассказывал, читал стихи вполголоса, но бас его было не победить, поэтому всё равно это бубнение далеко было слышно.

На кого же было похоже это дерево?

Вольные мысли

С конца 40-х утвердилось общее мнение, что Луговской потерял форму навсегда – стихи его из циклов “Граница” (1949–1954) и “Украина” (1953–1954) действительно никуда не годны, хуже стихов, чем эти, он никогда не писал.

Ни одна поэма из “Середины века” так и не была опубликована, до он и не торопился.

Потом вдруг, под самый занавес, в середине 50-х, вышли две очень хорошие маленькие книжечки лирики: “Солнцеворот” и “Синяя весна”. О нём снова заговорили: вот ведь, поёт ещё, складывает, не совсем рассыпался.

Летом 56-го Луговской заглянул в гости к литературоведу Левину – пошел, поговорил. Едва ушёл, Левина спросили: “Кто этот почтенный старец?” Луговскому было всего 55. Медленно ходил, тяжело опираясь на палку. Останавливался и дышал.

Весь его вид из года в год доказывал одно: в 1941 году он действительно ужасно заболел после бомбёжки, и так и не оправился, выживая не на собственных силах, а на другом топливе. У Луговского было дело: досочинить “Середину века”.

11 августа 1956 года он писал из Переделкино своей Майе: “Я должен кончить книгу. Это цель жизни. Теперь я знаю всё в искусстве. Я понял. Душа свободна”.

Оставалось не дать заснуть и забыть пережитое тому человеку, что танцевал курсантскую венгерку в 1919 году, писал письма любимым женщинам, закапывал убитого пограничника в песок пустыни, видел последних ханов Средней Азии, был свидетелем и провидцем того, как начинался фашизм в Европе, пережил 37-й, пережил любовь и отторжение товарищей, слышал ропот, гул, подземные толчки времени, был обварен этим временем, потерял кожу — и шёл теперь по своим следам к самому началу.

Константин Симонов, слушавший некоторые поэмы Луговского ещё в Ташкенте, очень точно отозвался в своей повести об этих стихах. В них, говорил Симонов, “было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя — какой ты! — которым были одушевлены прежние, даже самые хорошие стихи” Луговского.

Павел Антокольский отметил, что в “Середине века” стихотворный размер, используемый Луговским (нерифмованный пятистопный ямб), взят не от Пушкина и не от А. К. Толстого, а от “Вольных мыслей” Блока. Это наблюдение тоже очень верно: Луговской, проделав огромный поэтический путь, вернулся к тому, с чего началось его благое сумасшествие, — к поэту, который был его кумиром в ранней юности, к поэту, чьи стихи он читал над могилой отца.

Перед самой смертью Луговской сделал то, чего не смогли совершить друзья и близкие знакомые его молодости, все его соратники и соперники — поэты Тихонов, Сельвинский, Кирсанов, писатели Фадеев и Федин, — он вернул свой дар. Вернул и приумножил. И дар его очнулся и запел, как запела мать Луговского перед своим уходом.

Помимо Луговского, то же самое возрождение пережил и давний его друг-недруг Валентин Катаев. Более того, есть смысл задуматься о том, что импульсом для катаевского мовизма и цикла его классических исповедальных повестей стал цикл поэм “Середина века”.

Это можно долго и успешно доказывать, сверяя строку со строкой, а можно просто поместить под одну обложку “Новый год”, “Дорогу в горы”, “Москву”, “Смерть матери”, “Сказку о дедовой шубе”, “Сказку о сне” Луговского и “Маленькую железную дверь в стене”, “Траву забвенья”, “Святой колодец”, “Разбитую жизнь, или Волшебный рог Оберона”, “Кладбище в Скулянах”, “Алмазный мой венец”, “Уже написан Вертер”, “Спящий” Катаева.

И тогда станет ясно, что совпадают не только ключевые слова и темы (родовые воспоминания, революция, гражданская, террор, уход родителей, Ленин, Маяковский, друзья и товарищи по литературе), но и сама форма описания их: Луговской уже на полшага к прозе, Катаев — на полшага к поэзии, оба помнят, в чём виноваты, помнят, как щедро совершали глупости и подлости, оба, — но Луговской первый! — настроили оптику так, что словно бы они смотрят сон о самих себе, и вместе с ними тот же сон смотрит читатель, сон в ритме лодки, покачивающейся на воде времени. Нарочитая (зачастую ложная, внешняя) бессюжетность, удивительная образность, вернувшаяся юношеская романтичность и беспристрастный взгляд на эпоху, ужасную и небывалую.

“Да, это правда сон”, — начинает Луговской одну из своих поэм. “После этого начались сны”, — одна из первых фраз повести Катаева “Святой колодец”.

Сны тихие и — беспощадные.

“...я / Случайный, схваченный за хвост свидетель / Седящий от лжи”, — объявляет Луговской.

“Я верил в Бога, я любил его, / Я видел Бога. / Он сидел во тьме, / Старинный, одинокий, непонятный, / Держа в руках модель аэроплана / Работы первых строгих мастеров, / Мечтавших в девятнадцатом столетье / О высшей правде и победе человека...”

Высшая правда пришла не так, как ждали её.

Он вспоминает: “Душа народа, как свеча, горела, / Зажжённая судьбою с двух концов. / И заслоняли глушь дождливых парков / Пять тысяч гипсовых волейболисток, / Пять тысяч статуй гипсовых вождя”.

Он кается: “О, город мой, такой невероятный, / Что ночью снятся мне звонки ночные / (О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!), / Что ночью

слышу я шаги из мрака – / Кого? Друзей, товарищей моих, / Которых честно я клеймил позором”.

Он ужасается: “И человек, как смерч, летел к Мадриду, / Чтобы смести фашизм. Читал “Гренаду”. / Потом в Москве полноточной ртом кровавым / Кричал на следователя: “Фашист!” / Изведал горе, радость, ужас смерти / И жизнь окончил в небе над Берлином”.

“Что мне сказать, плохому сыну века?”

Вот что!

*И всё же видел ты, что оглулялись
Умы и души, полные тревоги,
Чудесного, земного беспокойства
За новый взлёт, за красоту открытий.
Ты видел, как стандартным черпаком
До дна исчерпывались эти души.
Ты видел, как догматиков скрипучих
В мертвящий плен цитаты загоняли.
И всё же, вопреки железной скуке,
Рвались под солнце зло, неудержимо
Десятки тысяч подлинных людей,
Талантливых, умелых, непреклонных.*

Не спрятав взгляд ни от чего, не попытавшись обойти словом свою подлость и слабость, кровь, хаос и ужас, Луговской выносит своё оправдание:

*Ты понимал жестокий ход событий,
Ты знал, что даже в самый страшный час
Мы шли вперёд. По крови? Да, по крови.
И по костям? Да, по костям. Спроси
У тех костей: “За что погибли люди?”
Тяжёлый ты ответ тогда услышишь
И справедливый: “Люди, мы боролись
За коммунизм. Живите. Мы простим!..”*

Луговской написал под прессом жестокой власти свои самые дурные, патетичные и пустые стихи, сочинённые в каком-то изнеможении сил и чувств.

Но дело в том, что лучшие свои стихи он написал в силу тех же причин: под влиянием времени, на мощнейшем ветру эпохи. Эпоха дала ему всё: жизнь, кипенье, ощущение причастности к нечеловеческим победам, и у него хватало разума и сил осознать это, не забыв всё остальное: 37-й, крушение многих иллюзий.

В одном из последних своих стихотворений он напишет: “Может быть, / Это старость, / Весна, / Запорожских степей забытьё? / Нет! / Это – сны революции, / Это – бессмертье моё!”.

Перед нами верный, не сдавший ни одной позиции ребёнок Октября, прожжённый, неисправимый “левак”, и к тому же империалист, неоднократно воспевавший советское, красноармейское собирание земель, а ещё русофил, у него даже снег падает великорусский; в общем, на первый взгляд, – сочинитель устаревший, ненужный, вредный... а на самом деле он просто обязан вернуться – юный, новый, поющий, со своим рокочущим басом, бровеносец, красавец, умница, романтик, великий русский поэт.

Луговской однажды – крайне серьёзно – рассказал молодым ученикам о том, что видел русалку в Сибири.

Зелёные стихотворцы стали по-доброму посмеиваться.

Дядя Володя не на шутку рассердился: что это за поэты, чёрт побери, которые не верят в русалок?

Ему говорят: там же гидростанции повсюду.

Он говорит: и что? Пусть будут гидростанции и русалки.

Наверное, Луговской может вновь объявиться в этой стране – с гидростанциями и русалками. Там ему будут памятники стоять.

Высокие, в белых костюмах, памятники.

Коллекция сабель

В 1956 году журнал “Звезда” одну за другой публикует поэмы из “Середины века”, а книги, вышедшей в 1958 году, Луговской дожидаться не успел, да и зачем – дело сделано.

8 мая 1957 года он сходил на могилу отца, вернулся тихий в свой перedelкинский дом. 9 мая улетел в Ялту.

– Еду за синей весной. Буду работать... Обратное полечу... – сказал провожавшему его поэту Льву Озерову.

В Ялте держался обособленно, ни с кем не общался. Уходил с утра, соседи видели, как останавливалась машина, из неё медленно вылезал, трогая дорогу тростью, Луговской и, ни на кого не глядя, возвращался в свою комнату на первом этаже маленького старого флигеля – белый, как патриарх.

Он скончался 5 июня 1957 года – сердечный приступ. В Москву действительно вернулся на самолёте.

На юбилей революции не успел, но свой венок к юбилею Октября 17-го сплёл.

25 мая начал последнюю поэму “Октябрь”, 27 мая оборвал её на полувздохе – и так даже лучше, так кажется, что она дышит и ждёт продолжения.

“Никто не знал, что это будет. / Мрак. / Иль свет, иль, может, светопрепставленья, / Неслыханное счастье или гибель”.

Итоги его жизни тоже не подведены, а продолжают. Сначала они были утешительны, потом перестали быть таковыми.

Луговской после войны однажды придумал праздник – День поэзии. Праздник попробовали отметить – и получилось хорошо. Позже День поэзии пошёл из страны в страну, по всему миру. Это всё Луговской, это он.

В Ялте установили скромный и суровый барельеф поэта на валунном камне возле Дома творчества, где, согласно завещанию Луговского, было похоронено его сердце.

Первые тридцать лет переиздавались его книги, сотни тысяч книг. Обычным делом были антологии, где Багрицкий, Тихонов, Луговской шли в ряд, как равные, – звонкие советские классики, стоящие сразу после трёх титанов: Блока, Есенина, Маяковского.

Случались редкие официальные мероприятия и гораздо более интересные неофициальные – “дни рождения Владимира Луговского” в его квартире в Лаврушинском, где Майя Луговская собирала жён и любовниц поэта и открывала вечер так: пусть каждая из нас расскажет о нём.

И ведь рассказывали – и на празднике возникало ощущение мира, нежности, всепрощения.

Только одна из его главных любовей – француженка Этьенетта – погибла, не могла явиться, но незадолго до смерти Луговской попросил положить ему в гроб подаренный ею в Париже платок. Так и сделали.

Звучит двусмысленно, но мы скажем всё равно: Луговской был верен всем своим женщинам – он всех их любил. И они простили ему за это всё...

Но прежние времена треснули, посыпалась сначала извёстка, а потом обрушились несущие стены. Образовались сквозняки, которые выдули и замели многое.

В годы независимости Украины барельеф на валунном камне в Ялте сворovali; восстанавливать его никто не стал. Сердце поэта лежит там безымянным.

В последующую после обвала страны без малого четверть века вышла всего одна книга поэта Владимира Луговского тиражом полторы тысячи экземпляров.

Стали звучными имена новые или старые, но позабытые на время имена. Лишь титаны устояли, а второй ряд и, тем более, третий, и довоенные ученики Луговского, и честные солдаты Великой Отечественной, авторы фронтовых песен, фронтовых поэм, фронтовой лирики – все куда-то запропали, всех снесли в чулан, а кого-то и на помойку выбросили, и чтобы разглядеть любого из них, нужно долго, чихая, протирать тряпкой давно упавший бюст, вглядываясь в гипсовые черты: кто же это, кто? Чего он написал-то?

В семье Луговских никто не вспоминает о родстве с ним. Классический неудачник, выплунутый новой эпохой.

Дочь Людмила Голубкина с тихой грустью сообщает: “Мои дети и внуки равнодушны к его поэзии и к его памяти”.

Коллекцию сабель Владимира Луговского распродали.

Утешиться, что ли, тем, что Иосиф Бродский сказал о том, что белый стих Луговского повлиял на всё послевоенное поколение? Ну, так и Бродского нет уже, не говоря о послевоенном поколении.

Кому тут надо белые стихи красного поэта? Заглядывайте в наш букинист.

Такая картинка

Человек думает, что он всю жизнь руководствуется сложными мотивациями, что он никому до конца не ясен, что у него будет время всё объяснить.

А потом вдруг оказывается, что, напротив, он ясен до некоторой даже прозрачности, и мотивации его просты, и рисунок его судьбы, если посмотреть сверху, вдруг оказывается несложным.

Хорошо ещё, если это рисунок, а не прямая линия: шёл – пришёл.

Говоря о Луговском, можно всё это свести к дурацкому анекдоту: жил поэт и думал, что он Гумилёв, а он оказался Северяниным. В этом контексте тот довоенный вечер, когда Луговской так и не зашёл к Северянину, когда стоял он в своей портупее, красивый, как воплощённая воинская доблесть, возле его виллы, – вот эта невестрача получает какое-то особенное, щемящее звучание.

Открыл бы дверь – и увидел собственные глаза спустя двадцать лет. И не узнал бы себя, конечно.

Но анекдот этот не точен и никуда, в конечном счёте, не годен.

У Луговского не хватило сил на ту судьбу, которую он себе выпрашивал, но у него хватило сил на многое другое. Он назойливо гулял по краю, он влетел в свой капкан, он едва не подох от боли, но вынес и выполз, и несколько раз, преодолевая стыд и унижение, становился небывалым стихотворцем – по самому высокому счёту.

Смотреть на его жизнь интересно, в ней есть трагедия, в ней есть драма, его Алайский рынок роднит его с другим дервишем – Велемиром Хлебниковым. У судьбы его запоминающийся, грустный рисунок, и если закроешь глаза, об этой жизни можно думать, пытаться как-то иначе перерисовать её, сделать лучше, но она снова складывается только в ту, которой была.

Он не Гумилёв и не Северянин, он – Луговской, Владимир Александрович, хороший человек, сломленный не эпохой, а просто жизнью. Жизнь страшнее любой эпохи, тем более если эта жизнь пришлась на войну. Хороший человек и стихотворец, каких очень и очень мало.

Если бы все эти поэты десятых, двадцатых и тридцатых годов жили в древности, в античности, только о нескольких из них сохранились бы легенды: Блок, Гумилёв, Хлебников... Есенин, Маяковский, Мандельштам... Павел Васильев, Луговской... Симонов, конечно же... Ещё, быть может, трое или четверо. Остальные, даже замечательные сочинители стихов и песен, расплылись бы во времени. Собственно, тут и античных сроков ждать не надо: мы и сейчас их не помним, даже самые звучные имена теряют свою бронзу, хотя они были, их читали тысячи, а самых удачливых – миллионы, они страдали, они воевали, некоторые были героями, иные – оглушительно громкими пустозвонами... Но мы же говорим, что судьба любит, когда у неё есть рисунок, есть завязка, кульминация и развязка. И потом ещё, после развязки, – мораль (мораль каждый готовит по вкусу, хотите – насыпьте соли, хотите – пересластите).

Тут всё это есть. Тут всего этого в избытке.

Разница разве что в том, что на некоторых поэтов порой хочется быть похожим – на Гумилёва, на Есенина, на Маяковского, – а на некоторых, – скажем, на Мандельштама, на Павла Васильева или на Луговского – нет.

Ну так что, мало ли как бывает. Бог щедр: бывает не только хорошо, бывает, для разнообразия, по-всякому.

Было и так.

Хорошо, что было.